

Костяной пояс

Сергей Галактионов



Сергей Галактионов

Костяной пояс

«Автор»

2026

Галактионов С. В.

Костяной пояс / С. В. Галактионов — «Автор», 2026

Солнечная система — радиоактивное кладбище. Земля мертва. Марс сгорел. Выжившие прячутся на астероидах Пояса, воюя за литр воды и глоток воздуха. Технологии — смесь ретро-ракет и глючной биомеханики. Надежда — миф. Но в недрах Цереры, в четырнадцати километрах скалы, ждёт «Сад» — довоенная экосистема, способная превращать мёртвый камень в зелёный мир. Когда случайная ошибка делает его координаты известными всему Поясу, начинается гонка. За «Садом» летит флот корпорации «Гелиос Прайм». Рядом с ним — рой фанатиков культа «Зелёных». Позади — бандитские клины, которые хотят вырезать сердце машины и вживить его в своих бойцов. В центре этого ада — Ли, девятнадцатилетняя сирота, которая нашла «Сад» первой

© Галактионов С. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	16
Глава третья	25
Глава четвёртая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Сергей Галактионов

Костяной пояс

«Мы искали сад в камнях, а он рос в нас. Мы искали спасителя на троне, а он шёл через толпу без имени. Мы искали чудо, которое спасёт мир, и не заметили, что мир уже спасён — просто никто не кричал об этом».

— Надпись на стене спасательной капсулы, автор неизвестен

Глава первая

Ржавый риф

Фляга показывала 0,8л.

Ли встряхнула её — привычка, бессмысленная, как все привычки в Поясе, — и жидкость внутри качнулась тяжело, маслянисто. Не вода. Конденсат из рециркулятора скафандра: дистиллят пота, выдоха и мочи, прогнанный через угольный фильтр трижды. На вкус — тёплый металл с привкусом кетонов. Пить можно. Жить можно. Наслаждаться — нет.

Ноль целых восемь десятых литра. На двое суток, если растянуть. На сутки, если не пове- зёт.

Она закрепила флягу на пояском карабине, проверила герметичность перчаток — левая травила по шву, и Ли залатала её вчера хитиновым клеем, который Док варил из панцирей переработанных сверчков, — и оттолкнулась от края кратера.

Ржавый Риф не имел горизонта.

Астероид был слишком мал — одиннадцать километров в поперечнике, масса три и два на десять в тринадцатой степени килограммов, ускорение свободного падения 0,004м на секунду в квадрате. Прыжок с места уносил тело на восемь метров вверх и опускал обратно через девяносто секунд. Люди здесь не ходили — они прыгали, цеплялись, ползли по тросам, натянутым между скальными выступами, как пауки по обрывкам паутины. Поверхность — реголит, тёмно-серый, почти чёрный, альбеда ноль целых ноль пять. Под ногами он хрустел как перемолотые кости, и Ли иногда думала, что это и есть кости. Кости мёртвой планеты, которую перемолотило гравитацией и временем.

Солнце висело над острым гребнем северного хребта — маленькое, злое, размером с ноготь мизинца на вытянутой руке. На Земле, говорил Док, солнце было большим и тёплым, и от него загорала кожа. Ли не знала, что такое «загорала». Она знала, что ультрафиолет на поверхности Рифа — жёсткий, немодулированный атмосферой, и что десять минут без защиты дадут эритему первой степени, а час — лучевую язву, которая не заживёт никогда. Скафандр защищал. Скафандр — лоскутный, собранный из пяти разных: нагрудник от довоенного горнопроходческого, рукава от корпоративного лёгкого, штанины от детского (Ли выросла, а штанины — нет, и она надставила их полосами переработанного полиэтилена), шлем от военного — с трещиной на забрале, заклеенной эпоксидной смолой, через которую мир виделся чуть кривым, чуть расплывчатым, как сквозь мутную воду. Ли не помнила мира без этой трещины.

Она шла к Западному разлому.

Тросовая дорога тянулась от жилого модуля — вздутого алюминиевого пузыря, вросшего в кратер, где жили сто двадцать человек, — через полтора километра каменной пустыни к обломку корабля, который лежал в расщелине уже тридцать семь лет. Корабль назывался «Ханьян», и когда-то он был грузовым транспортником класса «Сибирь» — четыре тысячи тонн водоизмещения, шесть гидразиновых двигателей, трюм на восемьсот кубометров. Теперь он был мертвецом: корпус развалился при посадке, которая была не посадкой, а падением, и «Ханьян» раскололся надвое, как орех, обнажив внутренности — переборки, трубы, пучки проводов, покрытые инеем. Жители Рифа выпотрошили его за десять лет: забрали двигатели, генераторы, водяные баки, систему жизнеобеспечения, даже обшивку. Остался скелет. Рёбра и позвоночник мёртвого кита, присыпанные реголитом.

Но скелеты тоже полезны. Ли знала это лучше других.

Она подтянулась на тросе, перелетела через гребень — невесомость качнула желудок, и привкус кетонов поднялся к горлу, — приземлилась на карниз и включила налобный фонарь. Луч — узкий, голубовато-белый, светодиод на три ватта, заряженный от ручной динамо-

машины, — упал в щель между рёбрами «Ханьяна» и выхватил из темноты то, за чем она пришла.

Фильтр.

СО₂-скруббер, модель «Дыхание-7М», серийный номер стёрт коррозией. Цилиндр размером с предплечье, из нержавеющей стали — настоящей, довоенной нержавеющей стали, не переработанного сплава, а оригинальной аустенитной хромоникелевой, марки AISI 316L, которая не ржавела даже в Поясе, где влажность внутри модулей доходила до девяноста процентов, и конденсат собирался на стенах каплями, как слёзы. Внутри — гранулы гидроксида лития, которые связывали углекислый газ и превращали его в карбонат. Фильтр был старый, частично отработанный, — Ли видела по серому налёту на гранулах, что ёмкость осталась процентов на тридцать. Но тридцать процентов — это двенадцать часов дыхания для одного человека. Двенадцать часов жизни.

Она протянула руку.

И замерла.

Из-за переборки, из темноты, куда не доставал фонарь, раздался звук. Тихий, скрежещущий, ритмичный. Не механический — органический. Так скребут ногти по металлу. Или зубы. Или когти.

Ли не шевелилась. Сердце — сто десять ударов в минуту, симпатическая нервная система, адреналин, перераспределение кровотока от кожи к мышцам. Зрачки расширились. Мир стал чётче, контрастнее, острее — и тише, потому что слуховая кора отфильтровала всё лишнее и оставила только этот звук.

Скрежет. Пауза. Скрежет. Пауза. Скрежет.

Ли медленно повернула голову. Луч фонаря скользнул по переборке — пятна коррозии, как карта, как лишай, — и упёрся в угол.

Крыса.

Не настоящая крыса — настоящих крыс в Поясе не было уже двадцать лет. Биомеханическая: тело из переработанного силикона, скелет из титановых стержней, мозг — комок мицелия размером с горошину, опутанный серебряными нитями нейроинтерфейса. Кто-то собрал её давно, может, ещё до войны, и она жила здесь, в трупе «Ханьяна», питаясь остатками органики на стенках труб и грызя изоляцию проводов — отсюда звук. Крыса смотрела на Ли единственным глазом — красным, биомеханическим, — и её усы, сделанные из углеродных нанотрубок, подрагивали, считывая вибрации воздуха.

Ли выдохнула. Сердечный ритм: восемьдесят. Семьдесят. Норма.

— Привет, — сказала она.

Крыса моргнула. Красный огонёк погас и зажёгся.

Ли достала из нагрудного кармана крошку водорослевого хлеба — сухого, зелёного, спрессованного в квадрат со стороной два сантиметра — и положила на переборку. Крыса смотрела. Ли отодвинулась. Крыса подползла к крошке, обнюхала её нанотрубочными усами, схватила титановыми лапками и утащила в щель.

Ли улыбнулась. Улыбка была маленькая, быстрая, как вспышка метеора — загорелась и погасла. В Поясе улыбки расходовались экономно. Как вода. Как воздух. Как всё.

Она взяла фильтр, закрепила его на спине и полезла вверх.

Обратный путь через тросовую дорогу занял сорок минут. В нормальной гравитации — десять минут ходьбы. Но на Рифе гравитации не было — была её тень, призрак, намёк. Каждый шаг превращался в полёт, каждый полёт — в расчёт: угол отталкивания, вектор движения, точка приземления. Ошибка на три градуса — и ты улетаешь с поверхности. Вторая космическая скорость Рифа — четыре целых семь метров в секунду. Быстрый бег. Слишком быстрый бег — и ты в космосе, без корабля, без шанса, без прощания.

Люди погибали так каждый год. Обычно дети. Обычно во время игр, которые только дети Пояса могли придумать: «Кто прыгнет выше», «Кто дольше провисит над поверхностью», «Кто коснётся Солнца». Солнца никто не касался. Космоса — многие.

Ли не играла в эти игры. У неё не было детства, в котором можно было играть. Было выживание. Была капсула, в которой она очнулась в шесть лет, — довоенная спасательная капсула, модель «Протей-3», серийный номер KV-2144-E, с эмблемой на борту, которую никто не опознал: стилизованный зелёный лист в круге, под ним — буквы, стёртые абляцией при входе в гравитационный колодец Рифа. Была темнота. Был холод. Был голод. И была Ли — маленькая, тощая, с глазами цвета серого льда, которые смотрели на мир без удивления, без страха, без надежды. Просто смотрели.

Её подобрали старатели — двое мужчин, муж и жена, которые добывали лёд в кратерах. Они дали ей воды и положили у печки, а утром ушли на смену и не вернулись. Микрометеорит пробил скафандр мужа, декомпрессия убила обоих за четыре секунды. Ли осталась одна. Ей было шесть. Она не заплакала. Она не знала, что нужно плакать, когда кто-то умирает. Она знала только, что вода в их баке — ещё восемь литров, и этого хватит на шестнадцать дней, если пить по ноль целых пять литра, а если по ноль целых четыре — на двадцать. Она пила по ноль целых три.

Через двадцать шесть дней её нашёл Док.

Но это было давно. Тринадцать лет назад. Целая жизнь.

У шлюза третьего уровня, как всегда, сидела Мариа.

Ли увидела её издали — тёмная фигура, привалившаяся к стене рядом с люком, который вёл в космос. Мариа не двигалась. Она никогда не двигалась. Сидела, смотрела на закрытый люк — за ним вакуум, звёзды, вечный холод, — и молчала. Рядом с ней, привязанные к её поясу страховочным фалом, возились двое детей.

Эне было семь. Маленькая, кости и кожа, волосы — тусклые, ломкие, авитаминоз группы В, характерный для третьего поколения Пояса. Она сидела на корточках и рисовала на стене огрызком мела — рисовала круг, и в круге — что-то похожее на дерево. Ли не знала, откуда Эна знала, как выглядит дерево. Может, кто-то рассказал. Может, показал картинку на сломанном планшете. Может, приснилось. Дерево было кривое, с тремя ветками и пятью листьями, но Эна рисовала его с такой сосредоточенностью, с какой хирург режет ткани: каждая линия — важна, каждая ошибка — необратима. Мел крошился. Эна собирала крошки и рисовала дальше.

Рядом сидел Том. Четыре года. Маленький, круглоголовый, с глазами слишком большими для лица — характерная черта детей, рождённых в невесомости, где внутриглазное давление повышено, и глазные яблоки деформируются, становясь крупнее, выпуклее. Том грыз что-то, зажатое в кулаке, — кусок водорослевого брикета, размякшего от слюны, — и смотрел на Ли.

Ли остановилась.

Она всегда останавливалась здесь. У этого шлюза. У этой стены. У этой женщины с мёртвыми глазами и двумя живыми детьми.

Том. Его называли Том.

Внутри, под диафрагмой, что-то сжалось — коротко, как мышечный спазм, и тут же отпустило. Ли привыкла. Тринадцать лет привыкала. Не привыкла.

Она расстегнула нагрудный карман и достала полмешка водорослей — свой улов за сегодня, если не считать фильтра. Водоросли были сухие, свёрнутые в пластинки, каждая — размером с ладонь, толщиной в миллиметр. Спирулина, модифицированная штамм-34Б, хемосинтетическая — росла на сероводороде в реакторах Рифа. Калорийность — двести девяносто килокалорий на сто граммов. Вкус — рыбная мука, смешанная с мокрым картоном. Единственный источник белка для большинства жителей Пояса.

В мешке было двадцать пластин. Дневная норма Ли — четыре. Пятидневный запас.

Она отсчитала восемь пластин, сложила стопкой и протянула Мариа.

Мариа не повернулась. Не посмотрела. Протянула руку, взяла пластины механически, как берёт автомат — без мысли, без чувства. Движение, отработанное за годы. Кто-то протягивает — берёшь. Не благодаришь. Благодарность — лишний расход энергии. Калории не тратятся на слова, которые ничего не весят.

Ли присела рядом с Эной. Девочка подняла глаза — тёмные, внимательные, настороженные, как у биомеханической крысы в обломках «Ханьяна».

— Что рисуешь? — спросила Ли.

Эна посмотрела на стену. Круг. Дерево. Три ветки. Пять листьев.

— Не знаю, — сказала она. — Мне приснилось. Большое, зелёное, и сверху шумит, и с него падает вода.

— Дерево, — сказала Ли. — Это называется дерево.

— Деревья бывают?

Вопрос — простой, детский, невинный — ударил Ли под рёбра. Она ответила не сразу. Провела пальцем по меловому стволу, дорисовала шестой листок — маленький, кривой, как все листья, которые рисуют дети, никогда не видевшие листьев.

— Были, — сказала она. — Давно. На Земле.

— А сейчас?

— Не знаю.

Эна посмотрела на свой рисунок. Потом — на Ли. Потом — снова на рисунок.

— Я бы хотела потрогать, — сказала она. Тихо, серьёзно, как говорят о вещах, которые важнее воды.

Ли не ответила. Она смотрела на Тома. Том грыз водорослевый брикет и улыбался — бессмысленно, счастливо, как умеют улыбаться только четырёхлетние дети, которые ещё не поняли, в каком мире родились. Его лицо — круглое, мягкое, с ямочками на щеках.

Другое лицо. Другой Том. Десять лет, алюминиевая фляга, крик: «Это мамино!» Тело, улетающее в вакуум. Кристаллики крови на солнце.

Ли встала. Быстро. Слишком быстро — Эна вздрогнула.

— Я пойду, — сказала Ли. Голос ровный. Контролируемый. Голос человека, который умеет прятать осколки так, чтобы никто не порезался. — Возьми.

Она достала из кармана последнюю крошку водорослевого хлеба — ту, что оставила себе на вечер, — и протянула Эне. Крошка была маленькая, размером с фалангу мизинца. Эна взяла её обеими руками, как берут драгоценность, и разломилась надвое. Половину отдала Тому. Том засмеялся, запихнул хлеб в рот целиком и продолжил улыбаться.

Ли отвернулась. Сделала шаг. Два. Три.

Мариа смотрела на закрытый шлюз. Не двигалась.

На стене, рядом с деревом Эны, Ли заметила ещё один рисунок — старый, полустёртый, нарисованный не мелом, а чем-то острым, процарапанный по металлу. Контур — детский, неуверенный. Человечек. Маленький, с палочками-руками и палочками-ногами. Под ним — буквы, неровные, наклонные, как будто рука, которая их выводила, дрожала:

ТОМИК

Ли проходила мимо этой надписи каждую неделю. Тринадцать лет. Шестьсот восемьдесят раз. Она не останавливалась. Не смотрела. Не читала. Но каждый раз — каждый из шестисот восьмидесяти раз — внутри, под диафрагмой, сжималось. Коротко. Как мышечный спазм.

Она не привыкла.

Коридор пятого уровня пах аммиаком и мокрым железом.

Жилой модуль Ржавого Рифа — это не здание. Не дом. Не станция. Это организм. Большой, умирающий, держащийся на искусственном дыхании организм, составленный из кусков мёртвых кораблей, сваренных, склёпанных, склеенных друг с другом скотчем, хитиновым

клеем и молитвами. Стены — обшивка грузовых контейнеров, на которых ещё читались маркировки: «ХРУПКОЕ», «НЕ КАНТОВАТЬ», «СОБСТВЕННОСТЬ "ГЕЛИОС ПРАЙМ"». Потолок — днище какого-то корабля, с трубами, свисающими, как кишки из вскрытого живота. Пол — решётчатый, под ним — тьма, в которой что-то капало, ритмично, бесконечно, как метроном.

Конденсат. Влажность внутри модуля — восемьдесят два процента. Температура — шестнадцать градусов Цельсия. Давление — девяносто четыре килопаскаля, чуть ниже земной нормы. Состав атмосферы — семьдесят восемь процентов азота, двадцать целых три процента кислорода, один и два — углекислый газ. Углекислого многовато: норма — ноль целых ноль четыре, а здесь — в тридцать раз выше. Скрубберы не справлялись. Людей — сто двадцать, а скрубберов — шесть, и три из них работали вполсилы. СО₂ копился медленно, незаметно. Первый симптом — лёгкая головная боль, которую все списывали на стресс. Второй — сонливость. Третий — нарушение координации. Четвёртый — судороги и смерть. Между первым и четвёртым — месяцы. Ли жила с головной болью так давно, что забыла, как ощущается голова без неё.

Она шла по коридору, и люди расступались.

Не из уважения. Не из страха. Из безразличия. В Поясе каждый человек — остров, и между островами — вакуум. Ты проходишь мимо — тебя не видят. Ты умираешь — тебя перерабатывают. Ты рождаешься — тебя кормят, пока ты можешь работать, а потом — вакуум. Закон Рифа, неписанный, но абсолютный: не трать ресурсы на то, что не приносит ресурсов.

Ли нарушала этот закон каждый день.

Она остановилась у каюты — ниша в стене, два метра на полтора, отгороженная занавеской из переработанного полиэтилена. За занавеской — темнота, запах мочи и звук: свистящий, тонкий, как утечка воздуха из микротрещины в корпусе. Но это была не утечка. Это было дыхание.

Ли отодвинула занавеску.

Старик лежал на полу, завернутый в термоодеяло из фольгированного майлара, которое когда-то было золотым, а теперь стало серым, мятым, как лицо самого старика. Ли не знала его имени. Никто не знал. Он появился на Рифе три месяца назад — приполз из шлюзового отсека, из космоса, без корабля, без скафандра, в одном термокомбинезоне, который не защищал ни от чего. Как он выжил при декомпрессии — загадка. Может, воздействие было коротким. Может, он просто не умел умирать.

Он не говорил. Не ел. Не пил. Лежал, дышал, смотрел в потолок глазами, которые уже видели не потолок, а что-то другое — что-то, что видят только те, кто стоит на краю.

Ли присела рядом. Достала флягу. Ноль целых восемь литра. На двое суток.

Она открутила крышку и поднесла горлышко к губам старика.

Рука не дрогнула. Ли не колебалась — ни секунды, ни доли секунды. Это не было решением. Решение — это когда взвешиваешь, сравниваешь, выбираешь. Ли не взвешивала. Она увидела сухие, растрескавшиеся губы и поднесла воду. Так же, как дышала. Так же, как моргала. Автоматизм, вросший в мышцы, как мицелий — в переборки корабля.

Вода потекла по подбородку старика — он не мог глотать, мышцы пищевода не слушались, дисфагия, нейродегенеративный процесс, — и Ли подставила ладонь, собрала капли и поднесла снова. Терпеливо. Не торопясь. Как поят новорождённого.

Старик проглотил. Ноль целых ноль пять литра — глоток. Один глоток.

Ли дала ему ещё один. И ещё. И ещё.

Когда она закрутила крышку, во фляге оставалось ноль целых четыре. На сутки. Если растянуть. Если повезёт.

Старик смотрел на неё. Его глаза — мутные, с желтоватыми склерами, признак печёночной недостаточности, билирубин выше нормы в пять-шесть раз, — были спокойными. Не бла-

годарными. Не удивлёнными. Спокойными. Как будто он знал, что кто-то придёт. Как будто кто-то всегда приходил.

Ли поправила термоодеяло. Подоткнула углы. Провела рукой по лбу старика — кожа сухая, горячая, субфебрильная температура, тридцать семь и шесть, воспалительный процесс, который организм уже не мог победить и не собирался.

— Спи, — сказала Ли.

Старик закрыл глаза.

Ли вышла из каюты, задёрнула занавеску и постояла в коридоре, прислонившись к стене. Аммиак щипал глаза. Или не аммиак. Она прижала ладонь к лицу и выдохнула — длинно, медленно, как стравливают давление из шлюзовой камеры. Потом выпрямилась и пошла дальше.

На шестом уровне, у реактора биосинтеза — ржавого цилиндра, в котором хемосинтетические водоросли перерабатывали сероводород из вулканических трещин астероида в пригодный для дыхания кислород и несъедобную, но питательную биомассу, — Ли нашла то, что искала.

Мох.

Не биомеханический. Не модифицированный. Настоящий. Живой. Крошечная подушечка зелени размером с монету, притулившаяся в трещине трубы, где конденсат собирался особенно густо и температура держалась на двадцати двух градусах — идеально для бриофитов, споровых растений без корневой системы, без сосудов, без цветов. Просто зелень. Просто жизнь. Просто чудо, о котором никто на Рифе не знал и никого бы это не интересовало, если бы знали.

Кроме Ли.

Она присела на корточки. Сняла перчатку — левую, ту, что травила по шву, — и коснулась мха кончиком пальца. Мягкий. Влажный. Тёплый. Живой.

— Привет, маленький, — сказала Ли. — Держись.

Мох не ответил. Мох — это мох. У него нет ушей, нет нервной системы, нет сознания. Есть хлорофилл, фотосистемы I и II, цикл Кальвина, рибулозобисфосфаткарбоксилаза — фермент, который фиксирует углекислый газ и превращает его в глюкозу. Мох дышит наоборот: поглощает CO₂, выделяет O₂. Крошечная фабрика жизни, работающая на свете, воде и упорстве.

Ли капнула на него воды из фляги. Ноль целых ноль два литра. Капля.

Во фляге оставалось ноль целых три восемь. Меньше, чем на сутки.

— Расти, — сказала Ли.

Она надела перчатку, поднялась и пошла к себе — в нишу на седьмом уровне, где её ждала койка из натянутого брезента, рюкзак с инструментами, ручная динамо-машина для зарядки фонаря и пустота. Ни фотографий, ни вещей, ни воспоминаний. Только металлический диск на верёвке, который висел у неё на шее с тех пор, как она себя помнила. Маленький, тяжёлый, с выгравированным узором, стёртым до неузнаваемости. Иногда Ли крутила его в пальцах, лёжа без сна, и пыталась прочесть узор, как читают шрифт Брайля — на ощупь, вслепую, в темноте.

Узор не читался. Как всё в жизни Ли — он не поддавался.

Она легла. Закрыла глаза. Темнота модуля — абсолютная, без малейшего фотона, если выключить фонарь, — обняла её, как вакуум обнимает астероид.

Сон не шёл.

Ли думала о старике. О его спокойных глазах. О том, что к утру его, скорее всего, не станет, и его тело переработают — воду сольют в конденсаторы, кальций — в удобрения, углерод — в фильтры, — а то, что останется, выбросят через шлюз, как выбрасывали всех. Как выбросили Томика. Как выбросят её, когда придёт время.

Она думала о Мариа. О её мёртвых глазах. О том, что Мариа сидит у шлюза каждый день, каждый час, каждую минуту — и смотрит на дверь, за которой улетел её первый сын. Ждёт. Чего? Что он вернётся? Что космос отдаст его обратно? Космос не отдаёт. Космос — не враг и не друг. Космос — ничто. Пустота, которая не знает, что она пустота.

Она думала об Эне. О дереве с шестью листьями. О вопросе, который не отпускал: «Деревья бывают?»

Бывают ли?

Ли сжала диск на верёвке. Металл врезался в ладонь, и боль — маленькая, тупая, знакомая — заземлила её, вернула из мыслей в тело, из тела — в темноту, из темноты — в сон.

Ей приснилось зелёное.

Это был не сон — скорее, отпечаток, ощущение, которое не имело формы и не поддавалось описанию. Зелёное. Тёплое. Влажное. Шумящее. Что-то касалось её босых ног — мягкое, щекотное, живое. Что-то пахло так, что в груди расширялось, и дышать становилось легко, так легко, как никогда не бывает в скафандре, в модуле, в Поясе. Где-то пела женщина — голос низкий, мягкий, без слов, просто мелодия, просто вибрация воздуха, которая была важнее слов.

Ли протягивала руки к зелёному. Руки проходили сквозь него, и зелёное становилось прозрачным, и сквозь него проступали звёзды — холодные, белые, безразличные.

Она просыпалась.

Каждый раз.

Утром старик был мёртв.

Ли узнала об этом по звуку: шаги двоих мужчин в коридоре пятого уровня, скрип термоодежда из майлара, которое стаскивают с тела, и голоса — низкие, деловитые, без эмоций:

— Сколько в нём?

— Килограммов сорок. Кожа да кости. Воды литров двадцать, может. Кальция — граммов на два фильтра.

— Негусто.

— Негусто.

Шаги. Скрип. Тишина.

Ли лежала на койке и смотрела в потолок. Не шевелилась. Не плакала. В Поясе слёзы — потеря влаги. Она сжала диск на верёвке так, что пальцы побелели.

Потом встала. Оделась. Проверила скафандр. Заклеила шов на левой перчатке — вчерашняя заплатка треснула за ночь, хитиновый клей не держал в холоде, нужно было что-то другое, но другого не было, так что снова хитин, снова скотч, снова надежда, что не потечёт. Взяла рюкзак с инструментами. Проверила фильтр — тот, что вчера, из «Ханьяна», тридцать процентов ёмкости, двенадцать часов для одного человека, двести литров за всё. Закрепила на спине.

Вышла в коридор.

У шлюза третьего уровня сидела Мариа. Рядом — Эна и Том. Том спал, свернувшись калачиком, большая голова на коленях матери. Эна рисовала новое дерево. У этого было семь листьев.

Ли прошла мимо. Не остановилась. Но замедлила шаг — на секунду, на полсекунды, — и посмотрела на надпись на стене.

ТОМИК

Спазм под диафрагмой. Шестьсот восемьдесят первый.

Она не привыкла.

Ли шла к причалу, где стоял «Мотылёк» — её корабль, её дом, её единственный друг, если грибы в ржавой банке могут быть друзьями. Док дал ей координаты тоннеля на Церере.

Довоенный склад запчастей. Может, там найдутся фильтры. Может, мембраны для электролизёра. Может, что-нибудь, что можно обменять на воду. На время. На ещё один день.

Ли не знала, что через три дня она найдёт в тоннелях Цереры не запчасти.

Она не знала, что через неделю за ней будут охотиться три армии.

Она не знала, что через месяц она будет стоять перед выбором, который определит судьбу двухсот тысяч человек — последних людей в Солнечной системе.

Она знала только одно: во фляге — ноль целых три восемь. И мох на шестом уровне ждёт воды.

Она шла.

«Мотылёк» стоял в причальном доке — выдолбленной нише в скале, закрытой от космоса мембранным шлюзом, который дышал, как жабра рыбы, пропуская корабли и удерживая воздух. Корабль был маленький — одиннадцать метров от носа до сопла, масса семь тонн сухая, один гидразиновый двигатель с удельным импульсом двести тридцать секунд, грузовой отсек на четыре кубометра. Корпус — сварной, из переработанной стали, покрытый абляционным слоем фенольной смолы, которая местами облупилась и обнажила голый металл, тронутый ржавчиной. Похож на бочку с приваренным соплом. Похож на мусор.

Ли любила его. Не так, как любят красивые вещи — за форму, за блеск, за совершенство. Она любила его так, как любят живое: за то, что оно есть. За то, что дышит.

И «Мотылёк» дышал.

Мицелиальная сеть пронизывала каждый сантиметр корпуса — тонкие белые гифы, толщиной в десять микрон, вросшие в переборки, в трубопроводы, в электропроводку. Это была его нервная система. Его кровеносная. Его лимфатическая. Грибница, которая чувствовала температуру, давление, вибрацию, химический состав воздуха, состояние каждого болта и каждого шва. И в центре этой грибницы — нейрочип: комок мицелия размером с кулак, обвитый серебряными нитями нейроинтерфейса, пульсирующий слабым биолюминесцентным светом. Голубоватым. Как вены под кожей. Как звёзды через грязное стекло.

Ли поднялась по трапу, задраила люк, сняла шлем. Воздух внутри «Мотылька» был другим — теплее, чище, с лёгким грибным привкусом, как после дождя в лесу, которого Ли никогда не видела, но почему-то знала, как он пахнет. Мицелий фильтровал всё: CO₂, аммиак, летучие органические соединения, споры патогенных грибов. Идеальный симбиоз — корабль кормил гриб электричеством и теплом, гриб кормил корабль чистым воздухом и данными.

Ли села в кресло пилота. Пристегнулась. Положила руки на штурвал — тёплый, шершавый, покрытый тонким слоем гиф.

— Доброе утро, капитан, — сказал «Мотылёк».

Его голос — потрескивающий, с лёгким эхом, как запись, проигранная через дешёвый динамик, — шёл отовсюду. Из стен. Из пола. Из потолка. Из воздуха. Голос не имел рта, лица, тела. Голос был грибом. И гриб говорил.

— Мотылёк, — сказала Ли. — Я же просила: не называй меня капитаном. У меня нет команды. У меня нет корабля.

— У тебя есть корабль. Я — корабль. А у корабля должен быть капитан. Это логично. Это иерархия. Это... — Голос запнулся, пошёл пузырями, как кипящая вода. — «...это ваш шанс стать лидером! Курсы МВА от Оксфордского университета, теперь онлайн! Скидка тридцать процентов при оплате до...» — Треск. Тишина. — Прости, капитан. Рекламный кэш. Я не могу его удалить. Он вшит в базовую прошивку.

Ли вздохнула. Привычно. Как вздыхают о дожде, который никогда не закончится.

— Курс на Цереру, — сказала она. — Док дал координаты: тоннель Западного кластера, сектор семь, уровень минус четыре. Глубина — четырнадцать километров от поверхности.

— Принято, капитан. Расчёт траектории: оптимальная гомановская орбита, перелёт — трое суток, затраты дельта-вэ — сто пятьдесят два метра в секунду. Запас топлива — четыреста

тридцать. После выхода на орбиту Цереры останется двести семьдесят восемь. На обратный путь хватит. Впритык. Как всегда.

— Как всегда, — повторила Ли.

— Капитан, могу я задать личный вопрос?

— Нет.

— Я всё равно задам. У тебя во фляге ноль целых три восемь литра. Я это знаю, потому что мои гифы проросли в твой поясной карабин и чувствуют массу фляги. Три дня назад было ноль целых восемь. Ты отдала половину. Кому?

Ли молчала. Смотрела через иллюминатор — трещина на забрале шлема давала кривизну, но без шлема мир «Мотылёк» был чётким, маленьким и честным.

— Тому, кому нужно, — сказала она.

— Тебе тоже нужно, капитан. Твоя гипогидратация — первая степень. Ещё сутки без нормального потребления — и начнётся снижение когнитивных функций. Ты будешь хуже считать траектории. А я бы не хотел, чтобы ты врезалась в Цереру. Я к себе привязался. И к тебе тоже.

Ли посмотрела на потолок — туда, где мицелий пульсировал голубым, мягким, как ночник в детской комнате. Она не знала, что такое ночник. Она не знала, что такое детская комната. Но свет мицелия был похож на что-то, что она видела во снах — тёплое, живое, своё.

— Я в порядке, — сказала она. — Запускай двигатель.

— Есть, капитан. Двигатель прогрет. Реактор стабилен. Гидразин в норме. Мицелий в норме. Кислород в норме. Капитан — не в норме, но капитан не слушает.

— Не слушает.

— Зафиксировано.

Двигатель ожил — низкий, ровный гул, вибрация, которая прошла через корпус, через кресло, через позвоночник Ли и осела в зубах. Привычная вибрация. Как сердцебиение. «Мотылёк» отстыковался от причального дока, мембранный шлюз разошёлся, как веки, и в иллюминаторе появились звёзды.

Ли смотрела на них.

Звёзды были такими же, как всегда. Холодными. Белыми. Безразличными. Они горели миллиарды лет до того, как люди научились убивать друг друга, и будут гореть миллиарды лет после. Им было всё равно. Звёзды не знают, что такое вода. Что такое воздух. Что такое фляга с ноль целых три восемь литрами конденсата. Что такое мальчик по имени Томик. Что такое мох в трещине трубы.

Звёзды не знают.

Ли знала.

«Мотылёк» набрал скорость — двенадцать метров в секунду, двадцать, пятьдесят, — и Ржавый Риф начал отдаляться в иллюминаторе: тёмная, неровная глыба, похожая на обломок кости. Маленькая. Ничтожная. Точка в бесконечности.

Пятьсот человек на этой точке. Сто двадцать — в жилом модуле. Эна с семью листьями. Том с улыбкой. Мария с мёртвыми глазами. Мох на шестом уровне. Биомеханическая крыса в обломках «Ханьяна». Мёртвый старик, которого уже несут к шлюзу.

Ли отвернулась от иллюминатора. Положила руку на штурвал. Гифы мицелия под её ладонью пульсировали — тепло, ровно, как пульс.

— Мотылёк.

— Да, капитан.

— Спасибо, что ты есть.

Пауза. Три секунды. Для мицелиального ИИ — вечность.

— Капитан, — сказал Мотылёк. — Это самое нелогичное, что ты когда-либо говорила. Я — гриб. В ржавой банке. С рекламой йогурта в прошивке.

— Знаю.

— Но спасибо. Что ты есть тоже.

«Мотылёк» летел к Церере. За ним — Ржавый Риф, маленький и мёртвый. Впереди — звёзды, большие и равнодушные. Между ними — корабль, девушка и гриб.

Девушка без фамилии. Гриб без тела. Корабль без будущего.

Но они летели.

Глава вторая

ТИХАЯ ЯМА

Тихая Яма не значилась ни на одной карте Пояса.

Это был астероид класса С — углеродистый хондрит, два километра в поперечнике, масса восемь на десять в одиннадцатой степени килограммов, альбедо ноль целых ноль три, что делало его практически невидимым для оптических телескопов и радаров. Он вращался медленно — один оборот за девятнадцать часов, — и его поверхность была ровной, скучной, покрытой слоем реголита толщиной в четыре метра, под которым начинался монолитный углеродный массив, твёрдый, как алмаз и чёрный, как совесть корпоративного бухгалтера.

Никаких полезных ископаемых. Никакого льда в полярных кратерах. Никаких металлов, кроме следов железа и никеля, которые не стоили затрат на добычу. Тихая Яма была бесполезной скалой в океане бесполезных скал — и именно поэтому Док выбрал её сорок лет назад, когда ушёл с Гелиос-Станции и решил, что больше не хочет видеть людей.

Люди, по мнению Дока, были главным источником энтропии во Вселенной.

Ли знала это, потому что Док говорил это каждый раз, когда она прилетала. И каждый раз Ли прилетала, и каждый раз Док открывал шлюз, и каждый раз — после ворчания, проклятий и угроз вышвырнуть её в космос — сажал её за стол и давал миску водорослевого супа, который пах тухлыми яйцами, но был горячим, а горячая еда в Поясе — это роскошь, доступная только богачам и безумцам. Док был и тем, и другим.

«Мотылёк» вошёл в орбитальный радиус Тихой Ямы через трое суток после отлёта с Рифа. Три дня в замкнутом пространстве одиннадцати метров — это испытание для психики, которое Ли проходила регулярно и без жалоб. Она спала в кресле пилота, пристёгнутая ремнями, чтобы не улететь в потолок при манёврах коррекции. Ела водорослевые пластины — четыре в день, строго по расписанию, как прописал Мотылёк, который следил за её калорийным балансом с навязчивостью заботливой матери, если бы у заботливой матери был голос из ржавого динамика и привычка цитировать рекламу йогурта в три часа ночи. Пила воду — ноль целых три литра в день, потому что ноль целых три восемь растянулись на трое суток, и Ли считала каждый глоток, как считают патроны перед боем.

— Капитан, — сказал Мотылёк на третьи сутки, когда Тихая Яма появилась в иллюминаторе — чёрная точка на чёрном фоне, отличимая от пустоты только по тому, что закрывала звёзды. — Я зафиксировал сигнал маяка Дока. Частота — сто сорок два мегагерца, модуляция — фазовая, код — «свой-чужой», пароль — «убирайся к чёрту». Это стандартное приветствие Дока. Он не менял его двенадцать лет.

— Передай ответный, — сказала Ли. — Пароль: «я привезла тебе фильтр».

— Передано. Ответ получен через ноль целых восемь секунды. Текст: «...и что, я должен радоваться?» Эмоциональная окраска: раздражение с примесью скрытого удовлетворения. Я проанализировал интонацию — доверительный интервал девяносто четыре процента. Док рад тебя видеть, капитан.

— Он никогда не рад.

— Он никогда не признаётся. Это разные вещи. Как гипогидратация и жажда: одно — клинический диагноз, другое — субъективное ощущение. Док клинически рад, но субъективно ворчит.

Ли позволила себе улыбку. Маленькую, быструю, как вспышка метеора.

«Мотылёк» начал торможение — двигатель развернулся против вектора скорости, гидразин зашипел в камере сгорания, дельта-вз упало на сорок метров в секунду. Корабль вошёл в гравитационный колодец Тихой Ямы — неглубокий, ноль целых ноль ноль один метр на секунду в квадрате, едва ощутимый, как дуновение ветра, которого в вакууме не бывает, но

который Ли иногда чувствовала во снах, — и опустился в кратер на северном полюсе астероида.

Кратер назывался Ямой. Отсюда — имя. Тихая Яма. Кратер был глубоким — триста метров от кромки до дна, — и на его дне, в тени, куда не доставал солнечный свет, стояла мастерская Дока.

Мастерская — это слишком громкое слово. Это была нора. Выдолбленная в углеродном монолите пещера размером с ангар, закрытая от вакуума двойным шлюзом из бронированных панелей, которые Док снял с военного крейсера тридцать лет назад и приварил к скале так, что швы выдерживали давление до четырёхсот килопаскалей — вчетверо больше, чем нужно. Внутри — воздух, гравитация (искусственная, центробежная: мастерская вращалась вокруг центральной оси на подшипниках, которые Док смазывал раз в неделю, и вращение создавало ноль целых четыре g — не Земля, но лучше, чем ничего), свет (биолюминесцентные панели на мицелии, голубовато-зелёные, как северное сияние в миниатюре), тепло (геотермальный теплообменник, врытый в ядро астероида на глубину километра, где температура породы доходила до шестидесяти градусов Цельсия).

И запах.

Запах Тихой Ямы был уникальным. Смесь машинного масла, озона от сварочной дуги, грибного мицелия, перегретого металла, остывающего чая из сушёных водорослей и чего-то ещё — чего-то человеческого, тёплого, живого, что Ли не могла идентифицировать химически, но узнавала мгновенно, как узнают дом, даже если дома у тебя никогда не было.

Шлюз открылся. Воздух хлынул наружу — тёплый, влажный, пахнувший жизнью. Ли сняла шлем и вдохнула. Глубоко. До дна лёгких. Альвеолы расправились, парциальное давление кислорода — двадцать один килопаскаль, идеальная норма, и голова закружилась от избытка, как у ныряльщика, который слишком быстро всплыл.

— Мелкая.

Голос — низкий, хриплый, как скрежет металла о металл, — раздался из глубины мастерской. Ли подняла глаза.

Док стоял у верстака, освещённый голубоватым светом мицелиальных панелей, и выглядел так, как всегда: огромный, сгорбленный, похожий на медведя, которого насильно засунули в скафандр на два размера меньше. Рост — метр девяносто два. Вес — сто двадцать килограммов, из которых тридцать приходилось на биомеханические импланты. Лицо — широкое, плоское, изрытое шрамами от ожогов, которые он получил двадцать лет назад, когда взорвался реактор на станции Веста и Док вытащил из огня троих людей, потеряв при этом кожу на левой половине лица и всю левую руку до плеча. Глаза — маленькие, тёмные, глубоко посаженные, как у крота, который всю жизнь провёл под землёй и разучился смотреть на свет. Волосы — то, что от них осталось, — серые, жёсткие, торчащие во все стороны, как антенны сломанного радара.

Левая рука — биомеханика. Титановый каркас, сервоприводы на каждом суставе, искусственные сухожилия из углеродного волокна, и поверх всего — мицелиальная оплётка, тонкие белые гифы, которые проросли сквозь металл и соединили протез с нервной системой Дока, как мост между живым и мёртвым. Рука двигалась почти как настоящая — почти, но не совсем. Пальцы дёргались с задержкой в ноль целых две секунды, и иногда, когда Док нервничал, рука начинала жить своей жизнью: сжималась в кулак, разжималась, барабанила пальцами по столу, как нетерпеливый собеседник, который хочет уйти, но не может.

Сейчас рука барабанила. Док нервничал.

— Ты опоздала на шесть часов, — сказал он. Не приветствие. Обвинение. — Я рассчитал твою траекторию ещё вчера. Гомановская орбита, три суток, выход на орбиту Тихой Ямы в шестнадцать ноль-ноль по бортовому времени. Сейчас двадцать два ноль-ноль. Где ты была?

— В космосе, — сказала Ли.

— В космосе все в космосе. Это не ответ. Это тавтология. Ты знаешь, что такое тавтология?

— Знаю.

— Тогда ответ нормально.

Ли поставила рюкзак на пол и достала фильтр — тот, из «Ханьяна», СО₂-скруббер «Дыхание-7М», тридцать процентов ёмкости. Протянула Доку.

— Задержалась на Рифе. Нашла это. Тебе пригодится — у тебя скруббер на третьем уровне забился, я слышала, как он хрипит ещё с причала.

Док посмотрел на фильтр. Потом на Ли. Потом снова на фильтр. Его биомеханическая рука перестала барабанить и замерла — все пять пальцев растопырены, как у человека, который хочет схватить что-то, но не решается.

— Тридцать процентов, — сказал он. Определил на глаз, по серому налёту на гранулах гидроксида лития. — Двенадцать часов для одного. Или шесть для двоих. Или четыре для троих, если дышать неглубоко и не разговаривать. — Пауза. — Ты отдала воду старику на Рифе?

Ли не ответила. Это был не вопрос. Это был диагноз.

Док вздохнул — длинно, тяжело, как стравливают давление из баллона. Взял фильтр биомеханической рукой — пальцы сомкнулись с идеальной точностью, сила сжатия рассчитана до ньютона, чтобы не раздавить корпус, — и понёс к верстаку.

— Садись, — сказал он через плечо. — Суп на плите. Не ешь быстро — у тебя гипогидратация, я вижу по тургору кожи на скулах и по тому, как ты глотаешь. Медленно. Маленькими глотками. И не спорь.

Ли не спорила. Она села за стол — металлический, приваренный к полу, с вмятинами и ожогами, как лицо Дока, — и приняла миску супа. Суп был горячий. Водоросли, сушёные грибы, щепотка соли — настоящей, хлорида натрия, добытой из минеральных отложений на Весте, а не синтетической, которая горчила и вызывала тошноту. Ли пила суп маленькими глотками, как велел Док, и тепло разливалось по пищеводу, по желудку, по телу, как гидразин по топливопроводам — медленно, ровно, оживляя то, что почти остановилось.

Док сел напротив. Положил биомеханическую руку на стол. Рука дёрнулась — указательный палец согнулся и разогнулся сам по себе, без команды мозга, спонтанная активность мицелиального интерфейса, синаптический шум, который Док называл «характером».

— Чини, — сказал он. — Опять глючит. Вчера она схватила кружку с водой и не отпустила три часа. Я спал, а рука пила. Представляешь? Я просыпаюсь — рука сытая, я — обезвоженный.

Ли фыркнула в миску. Суп плеснул на стол.

— У твоей руки характер, — сказала она, вытирая лужу рукавом.

— Характер — это мягко сказано. У неё бунт. Франкенштейн в космосе. Я её собрал, я её кормлю, я ей гифы меняю каждые две недели, а она меня бьёт. — Док поднял руку и посмотрел на неё с выражением, которое у другого человека было бы нежностью, но у Дока выглядело как раздражение, смешанное с усталостью. — Нейроинтерфейс на четвёртом пальце деградировал. Синаптическая проводимость упала до сорока процентов от нормы. Мицелий отторгает титан — иммунная реакция, как у живого организма, хотя, технически, это и есть живой организм. Нужна пересадка гиф и калибровка сервоприводов. Ты умеешь?

— Ты же меня учил.

— Я учил тебя не спорить. С этим ты справляешься хуже, чем с пайкой.

Ли отодвинула миску, достала из рюкзака набор инструментов — пинцет, микрохирургический скальпель, лупу с десятикратным увеличением, катушку серебряной проволоки для нейроинтерфейса и банку хитинового клея, — и придвинула стул к Доку.

— Давай руку.

Док протянул биомеханическую конечность. Ли взяла её обеими руками — металл тёплым от мицелия, пульсация гиф под пальцами, как пульс, как жизнь, — и начала работу.

Это был ритуал. Их ритуал. Тринадцать лет, каждые два-три месяца, Ли прилетала на Тихую Яму и чинила Доку руку, а Док чинил Ли корабль, и оба делали вид, что это сделка, а не забота. В Поясе забота — слабость. В Поясе слабость — смерть. Но Тихая Яма была не Пояс. Тихая Яма была нора, в которой два сломанных человека чинили друг друга и молчали о том, что починке поддаётся не всё.

Ли вскрыла панель на тыльной стороне ладони — четыре винта, шлиц под шестигранник, резьба забита реголитом, пришлось прочищать иглой, — и обнажила внутренности руки. Сервоприводы — маленькие, точные, размером с фалангу, — опутанные гифами мицелия, как корни дерева опутывают камень. Гифы были серыми — признак некроза, отмирания, мицелий не получал достаточно питательных веществ и начинал разлагаться. Ли нахмурилась.

— Док, ты не кормишь руку.

— Я кормлю руку. Я кормлю весь корабль, все фильтры, все скрубберы, все биомеханические узлы в этой проклятой пещере. У меня органики на всех не хватает.

— Органики? У тебя компостер на третьем уровне. Перерабатывай отходы.

— Я перерабатываю. Но мицелий четвёртого пальца — это штамм-семь, он привередливый, ему нужен хитин, а хитин — это панцири сверчков, а сверчки у меня кончились два месяца назад, и я не могу их разводить, потому что инкубатор сломан, а запчасти для инкубатора стоят столько воды, что я скорее отдам почку, чем...

— Док.

— ...что я скорее отдам почку, чем буду платить корпоративным спекулянтам за горсть сушёных насекомых, и вообще, мелкая, не лезь в мою логистику, я тут сорок лет выживаю, и...

— Док. Дай мне пинцет.

Док замолчал. Протянул пинцет живой рукой. Биомеханическая дёрнулась — средний палец согнулся и ткнул Ли в локоть.

— Она меня бьёт, — сказал Док устало. — Видишь? Бунт.

— Это не бунт, — сказала Ли, вживляя свежие гифы в сервопривод четвёртого пальца. Работа — ювелирная: пинцет, лупа, микрохирургический клей, температура гиф — тридцать шесть и шесть, как у человеческого тела, ни градусом больше, ни меньше, иначе мицелий погибнет. — Это спазм. Мицелий голодает и посылает хаотичные сигналы. Как у человека судороги при дефиците магния. Рука не бунтует. Рука просит есть.

— Тогда скажи ей, чтобы терпела. У меня у самого дефицит магния. И калия. И витамина D. И терпения.

Ли фыркнула снова. Пинцет дрогнул, и гифа вжалась в нервное окончание на стыке титана и живой ткани. Докова рука дёрнулась — резко, сильно, — и ударила его по носу.

Звук — глухой, мокрый, как хлопок по сырому мясу.

— АЙ! — Док отшатнулся, схватился за нос живой рукой. Кровь — тёмная, густая, венозная — потекла между пальцами. — Ты что делаешь?!

— Ты дёрнулся!

— Это рука дёрнулась! Она меня бьёт! Это заговор! Машина против человека! Бунт, мятеж, революция в отдельно взятой конечности!

Ли зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться вслух. Смех в Поясе — редкость, как чистая вода, как настоящий воздух, как всё, что имеет значение. Но здесь, в Тихой Яме, в тепле и свете мицелиальных панелей, с Доком, который ругался и кровоточил и выглядел как медведь с похмелья, — здесь смех был возможен. Здесь можно было потратить калории на то, что не приносит ресурсов.

— Дай мне салфетку, — сказал Док, не отнимая руки от носа.

— У тебя нет салфеток. У тебя есть ветошь.

— Дай ветошь.

Ли протянула ему кусок переработанной ткани. Док прижал её к носу, поморщился и посмотрел на свою биомеханическую руку с выражением глубокого, экзистенциального предательства.

— Я её откручу, — сказал он. — Честное слово. Откручу и выброшу в космос. Буду одноруким. Как пират. Пираты в Поясе выживают лучше, чем механики.

— Не открутишь, — сказала Ли, возвращаясь к работе. — Ты без неё не сможешь держать кружку.

— ...Это аргумент, — признал Док после паузы. — Чини. Но если она опять начнёт пить без спроса, я подам на неё в суд.

— В Поясе нет судов.

— Заведу. Специально для неё.

Ли улыбалась, работая. Гифы — свежие, белые, живые, выращенные в биореакторе «Мотылька» за время перелёта, — ложились на сервоприводы, как корни на камень, и начинали прорастать, оплетать, соединяться с нервной тканью. Синаптическая проводимость росла: сорок процентов, пятьдесят, шестьдесят. Пальцы перестали дёргаться. Рука успокоилась.

— Готово, — сказала Ли через час. — Проводимость — восемьдесят пять процентов. Не идеал, но лучше, чем было. Корми руку хитином — я привезу тебе сверчков в следующий раз.

— В следующий раз привези мне здравый смысл, — проворчал Док, сгибая и разгибая пальцы. Рука слушалась. Почти. Четвёртый палец дёрнулся один раз, но слабо, как прощальный жест. — Ладно. Спасибо. Не говори никому, что я сказал «спасибо». Репутация.

— Никому не скажу.

— И не улыбайся так. В Поясе улыбки — это подозрительно. Люди подумают, что ты что-то украла.

— Я ничего не украла.

Док посмотрел на неё. Долго. Пристально. Его тёмные глаза — маленькие, глубоко посаженные, как у крота, — стали вдруг очень старыми и очень грустными, и Ли не поняла почему, потому что она ничего не сказала и ничего не сделала, просто сидела и улыбалась, а Док смотрел на неё так, как смотрят на что-то хрупкое, что может сломаться, если дунуть.

— Знаю, — сказал он тихо. — Знаю, мелкая.

Вечером — если на астероиде, где нет смены дня и ночи, можно говорить о вечере, — они сидели у геотермального теплообменника и пили чай. Чай из сушёных водорослей, заваренных кипятком из электролизёра, с привкусом йода и металла, но горячий, и это было главное. Теплообменник гудел — низкий, ровный гул, как сердцебиение планеты, если бы у астероида было сердце, — и тепло поднималось от пола, от стен, от скамьи, на которой они сидели, и Ли чувствовала, как её тело, замёрзшее за три дня в космосе, оттаивает, как лёд на поверхности кометы при приближении к Солнцу: медленно, неравномерно, с треском.

— Док, — сказала она. — Мне нужны координаты.

Док не спросил «какие». Он знал. Он всегда знал, о чём Ли попросит, ещё до того, как она открывала рот, — не потому, что был телепатом, а потому, что тринадцать лет чинил её корабль и её руки, и за это время изучил её лучше, чем она сама себя.

— Довоенный склад, — сказал он. Не вопрос. Утверждение. — Запчасти. Фильтры. Может, мембраны для электролизёра. Может, катализатор для регенеративного цикла.

— Может.

— На Церере?

— На Церере.

Док помолчал. Чай остывал в его кружке — биомеханическая рука обхватывала металл, и гифы на пальцах пульсировали, как будто пробовали чай на вкус. Может, так и было. Мицелий чувствовал химию лучше любого спектрометра.

— Тоннель Западного кластера, — сказал Док наконец. — Сектор семь, уровень минус четыре. Глубина — четырнадцать километров от поверхности. Координаты входа: широта минус двадцать три, долгота сто сорок семь. Я нашёл их тридцать лет назад, когда работал на Церере до... — Он оборвал себя. Ли знала, что он хотел сказать: «до войны». Но Док не говорил о войне. Никогда. Это было его правило, его шрам, его шлюз, который он задраил сорок лет назад и не собирался открывать. — Тоннель длинный. Тёмный. Радиация на верхних уровнях — ноль целых пять зиверта в час, это доза, которую скафандр держит часа три, не больше. Ниже — меньше, порода экранирует. Но на глубине минус четыре... — Он замолчал. Посмотрел на Ли. — На глубине минус четыре есть дверь.

— Дверь?

— Дверь. Довоенная. Биомеханическая. Живая. Я не открывал. Не смог. Замок — биометрический, привязан к конкретной ДНК, и моя ДНК не подошла. Я попробовал три раза, и каждый раз замок выдавал ошибку и обжигал руку криогеном. — Он поднял биомеханическую конечность. — Думаешь, почему она у меня такая? Не только из-за Весты. Половину ожогов я получил от этой двери.

Ли смотрела на него. Дверь. Биометрический замок. Конкретная ДНК. Что-то внутри неё шевельнулось — не мысль, не воспоминание, а ощущение, смутное, как запах во сне, как привкус воды, которую ты пил в детстве и забыл.

— Что за дверью? — спросила она.

— Не знаю. Сканер не пробивает. Стены — метаматериал, поглощает все частоты, от радиоволн до гамма-излучения. Как чёрная дыра, только в форме комнаты. Но... — Док поставил кружку. Посмотрел на Ли. Его глаза были серьёзными — серьёзнее, чем она видела за тринадцать лет. — Но сканер зафиксировал атмосферу. За дверью — воздух. Азот, кислород, углекислый газ, водяной пар. Соотношение — земное. Идеальное земное. Двадцать один процент кислорода, ноль целых ноль четыре — углекислоты, влажность — шестьдесят процентов. На Церере. Четырнадцать километров под поверхностью. В мёртвой скале, где не должно быть ничего, кроме камня и льда.

Тишина. Теплообменник гудел. Мицелий на стенах пульсировал голубым, ритмичным, как дыхание.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила Ли.

Док не ответил сразу. Он смотрел на неё — долго, тяжело, как человек, который несёт груз сорок лет и наконец решил, что пора его передать, хотя знает, что груз раздавит того, кто его примет.

— Потому что ты летишь туда, — сказал он. — И потому что ты... — Он запнулся. Биомеханическая рука дёрнулась — все пять пальцев сжались в кулак, потом разжались, — и Док посмотрел на неё с выражением, которое Ли не могла прочесть. — Потому что замок может открыться для тебя.

— Почему?

— Не знаю. — Ложь. Ли знала, что это ложь, потому что Док никогда не лгал — он молчал, уклонялся, ворчал, но не лгал. А сейчас он соврал, и его голос дрогнул, как сигнал ретранслятора на краю Пояса, и биомеханическая рука сжалась снова, и Ли поняла, что он знает что-то, чего не говорит, и не скажет, пока не будет готов, и может, не будет готов никогда. — Просто... попробуй. Если не откроется — бери запчасти и улетай. Не лезь глубоко. Не задерживайся. И не... — Он замолчал. Посмотрел на металлический диск, который висел у Ли на шее, — маленький, тяжёлый, с выгравированным узором, стёртым до неузнаваемости. Посмотрел — и отвёл глаза. Быстро. Как отводят глаза от солнца. — Не трогай ничего, чего не понимаешь.

— Док...

— Координаты загружу в Мотылька утром. А сейчас — спать. У тебя гипогидратация, гипотермия и дефицит сна. Три из трёх. Рекорд даже для тебя.

Ли спала в углу мастерской, на койке, которую Док собрал из амортизационных подушек корабельного кресла и термоодеяла из майлара. Койка была мягче, чем её брезентовый гамак на Рифе, и теплее, и пахла машинным маслом и грибами, и Ли заснула мгновенно, как выключенный прибор, — тело сдалось, мышцы расслабились, кора головного мозга перешла в дельта-ритм, и сны пришли быстро, без предупреждения, как всегда.

Зелёное. Тёплое. Влажное. Шумящее. Женский голос — низкий, мягкий, без слов. Руки, протянутые к зелени. Зелень, ускользающая сквозь пальцы. Звёзды. Холод. Тишина.

Она не проснулась от сна. Она проснулась от тишины.

В мастерской было тихо — не обычная тишина Тихой Ямы, которая гудела теплообменником и шуршала мицелием, а тишина после, как после взрыва, как после крика, как после того, как кто-то сказал слово, которое нельзя забрать обратно.

Ли открыла глаза.

Док сидел у верстака. Спина к ней. Не двигался. Перед ним, на металлической поверхности, лежал металлический диск — тот самый, с верёвки на шее Ли. Док держал его в живой руке, правой, человеческой, с мозолями и шрамами, и крутил в пальцах, как Ли крутила его во сне, — медленно, вслепую, ощупывая стёртый узор.

Ли не шевелилась. Дыхание — ровное, поверхностное, как у спящего. Она смотрела через полузакрытые веки и видела, как Док поднёс диск к свету мицелиальной панели и посмотрел на узор — долго, пристально, как смотрят на лицо мёртвого друга.

Потом он вздохнул.

Вздох был тихим. Тяжёлым. В нём было сорок лет — сорок лет молчания, сорок лет тайны, сорок лет того, что Док нёс в себе, как несёт астероид лёд в своих кратерах: глубоко, в темноте, под давлением, которое не отпускает.

— Элиза, — прошептал он.

Одно слово. Тихое, как утечка воздуха из микротрещины. Имя, которое Ли никогда не слышала, но от которого что-то внутри неё — что-то глубже памяти, глубже сознания, на уровне эпигенетических маркеров и метилированных участков ДНК, — отозвалось. Как камертон. Как резонанс. Как эхо в пустом тоннеле, которое возвращается к тебе, хотя ты не кричал.

Док положил диск обратно на верстак. Провёл по нему пальцем — нежно, как гладят ребёнка по голове, — и встал. Подошёл к койке Ли. Остановился. Посмотрел на неё сверху — на её лицо, на её руки, на шрамы от биомеханики, на лоскутный скафандр, который она не сняла, потому что в Поясе скафандр не снимают, даже во сне, потому что скафандр — это кожа, а кожу не снимают.

— Ты не сломана, мелкая, — прошептал он. — Ты никогда не была сломана. Это я сломан. Это все сломаны. А ты... — Он замолчал. Биомеханическая рука дёрнулась — пальцы потянулись к лицу Ли, как будто хотели коснуться щеки, но остановились в сантиметре, не решаясь. — Ты — лучшее, что я починил за всю жизнь. Хотя ты не нуждаешься в починке.

Он осторожно, так, чтобы не разбудить, — хотя Ли не спала, но лежала неподвижно, с закрытыми глазами, с дыханием спящего, с сердцем, которое колотилось так, что она боялась, что Док услышит, — надел диск обратно ей на шею. Верёвка коснулась кожи — тёплая, знакомая, своя.

Док отошёл. Сел за верстак. Взял кружку холодного чая. Выпил. Поставил кружку.

И начал загружать координаты в бортовой компьютер «Мотылька», который стоял в углу мастерской, подключённый к доковской сети длинным кабелем из оптоволокна. Данные текли по кабелю — координаты тоннеля, карта уровней, отметки радиации, схема шлюзов, — и Мотылёк принимал их молча, без комментариев, без рекламы йогурта, без шуток, как будто понимал, что сейчас не время.

Ли лежала с закрытыми глазами и слушала, как Док шепчет координаты, как гудит теплообменник, как пульсирует мицелий, как бьётся её собственное сердце — быстро, неровно, с аритмией, которая не была медицинской, а была чем-то другим, чем-то, для чего в Поясе не было термина.

Элиза.

Имя застряло в голове, как осколок в скафандре. Маленькое, острое, невидимое. Ли не знала, кто такая Элиза. Не знала, почему Док произнёс это имя так, как произносят молитву. Не знала, почему её тело отозвалось на этот звук, как отзывается на гравитацию — не разумом, а костями, кровью, клетками.

Она не спросит. Не сейчас. Док не скажет — не сейчас. Между ними тринадцать лет молчания, и ещё одно молчание ничего не изменит.

Но что-то сдвинулось. Трещина в стене, которую Ли не замечала тринадцать лет, стала шире на миллиметр. И через эту трещину — тонкую, едва заметную, как гифа мицелия, — просачивался свет. Зелёный. Тёплый. Влажный.

Как во сне.

Утром Док загрузил координаты в «Мотылёк», дал Ли мешок сушёных сверчков («для руки, не для еды, хотя разница невелика»), банку хитинового клея, два запасных фильтра для скруббера и миску водорослевого супа на дорогу.

— Не задерживайся, — сказал он, стоя у шлюза. — Тоннель опасный. Радиация, обвалы, биомеханические ловушки — довоенные системы безопасности, которые до сих пор работают и до сих пор убивают. Если дверь не откроется за час — уходи. Не геройствуй. В Поясе герои живут недолго.

— Я не герой, — сказала Ли.

— Знаю. — Док посмотрел на неё. Его лицо — шрамы, ожоги, морщины, как трещины в реголите, — было серьёзным и старым, и в его глазах было что-то, что Ли видела только однажды, тринадцать лет назад, когда он нашёл её в спасательной капсуле, маленькую, тощую, с глазами цвета серого льда. Что-то похожее на страх. На любовь. На прощание. — Просто... вернись. Ладно? Вернись, мелкая.

— Вернусь.

— Обещаешь?

Ли посмотрела на него. На его биомеханическую руку, которая перестала дёргаться и лежала спокойно вдоль тела, как послушный зверь. На его лицо, которое было уродливым и красивым одновременно, как всё в Поясе, что выжило вопреки всему. На его глаза, которые были тёмными и глубокими, как тоннель на Церере, в который она собиралась войти.

— Обещаю, — сказала она.

Док кивнул. Отвернулся. Пошёл вглубь мастерской, сторбившись ещё сильнее, чем обычно, и его тень на стене — огромная, кривая, похожая на тень сломанного дерева, — двигалась за ним, как верный пёс.

Шлюз закрылся. Воздух зашипел, стравливаясь в вакуум. «Мотылёк» отстыковался от причала и поднялся над кратером Тихой Ямы — чёрной, молчаливой, бесполезной скалы, на которой жил самый полезный человек в жизни Ли.

— Капитан, — сказал Мотылёк, когда Церера появилась на радаре — далёкая точка, серая, круглая, самая большая в Поясе, девятьсот сорок километров в диаметре, масса девять и четыре на десять в двадцатой степени килограммов, ускорение свободного падения ноль целых двадцать восемь метра на секунду в квадрате, — координаты Дока загружены. Тоннель Западного кластера, сектор семь, уровень минус четыре. Глубина — четырнадцать километров. Время подлёта — двое суток.

— Поняла.

— Капитан, могу я спросить?

— Спрашивай.

— Почему Док назвал тебя «мелкая»? Ты не мелкая. Твой рост — метр шестьдесят два, что выше среднего для женщин Пояса на четыре сантиметра. Это статистически значимое отклонение.

Ли посмотрела в иллюминатор. Тихая Яма удалялась — чёрная точка на чёрном фоне, исчезающая, как всё в Поясе, как все, кого она любила, как всё, за что она держалась.

— Потому что ему так удобно, — сказала она.

— Это нелогично.

— В Поясе ничего не логично, Мотылёк. Кроме тебя.

— Спасибо, капитан. Я приму это как комплимент, хотя не уверен, что им заслужил. Рекламный кэш подсказывает мне, что «настоящие друзья — как йогурт "Солнечный Луч": всегда рядом, всегда свежи, всегда...»

— Мотылёк.

— Замолкаю, капитан.

«Мотылёк» летел к Церере. За ним — Тихая Яма, маленькая и тихая. Впереди — самая большая скала в Поясе, и в её недрах — дверь, которая ждала сорок лет.

Дверь, которая, возможно, ждала именно её.

Ли сжала диск на верёвке. Металл — тёплый от кожи, тяжёлый, как обещание, как тайна, как имя, которое она не знала, но которое её тело помнило лучше, чем разум.

Элиза.

Кто ты?

Ответ был в тоннеле. Четырнадцать километров вниз. За биометрическим замком. За сорока годами молчания.

Ли летела.

Глава третья

ЦЕРЕРА. РАЗЛОМ

Церера была серой.

Не серой, как Ржавый Риф, — тёмной, угольной, мёртвой. Серой, как пепел. Как бетон. Как лицо человека, который давно перестал спать. Поверхность карликовой планеты — девятьсот сорок километров в диаметре, масса девять и четыре на десять в двадцатой степени килограммов, ускорение свободного падения ноль целых двадцать восемь метра на секунду в квадрате — была испещрена кратерами, трещинами и шрамами от микрометеоритов, которые бомбардировали её четыре с половиной миллиарда лет, методично, безжалостно, с терпением, доступным только неживой материи.

«Мотылёк» вышел на орбиту через двое суток после отлёта с Тихой Ямы. Дельта-вэ — двести семьдесят восемь метров в секунду, впритык, как и рассчитывал Мотылёк, и Ли не думала об обратном пути, потому что думать об обратном пути в Поясе — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого полный бак гидразина и ни одной проблемы.

— Капитан, — сказал Мотылёк, — я зафиксировал вход в тоннель Западного кластера. Сектор семь, координаты Дока совпадают с точностью до трёх метров. Вход расположен на дне кратера Оккатор, в тени центрального пика. Диаметр входа — четыре метра. Форма — правильная окружность, что исключает естественное происхождение. Это рукотворный объект. Довоенный. Возраст — ориентировочно сорок-пятьдесят лет.

— Радиация?

— На поверхности — ноль целых три миллизиверта в час. Фон. Терпимо. Внутри тоннеля, по данным Дока, — до пятисот миллизивертов на верхних уровнях. Это... — Мотылёк запнулся. — Это много, капитан. Это годовая доза за два часа. Скафандр экранирует, но не бесконечно. У тебя примерно три часа до того, как кумулятивная доза превысит порог острого лучевого поражения первой степени — тошнота, рвота, снижение лейкоцитов. После четырёх часов — вторая степень. После шести — третья. После восьми...

— Я поняла. Три часа.

— Три часа, капитан. Туда и обратно. Это значит, что у тебя полтора часа на спуск, ноль минут на раздумья и полтора часа на подъём. Как в рекламе: «Успей купить за шестьдесят минут — или потеряй всё!» Только вместо покупки — радиационное облучение, а вместо скидки — лейкопения.

— Мотылёк.

— Замолкаю. Но я серьёзно обеспокоен, капитан. Мои гифы чувствуют твой кортизол. Он повышен.

— У меня всегда повышен кортизол. Я живу в Поясе.

— Это не оправдание. Это диагноз.

Ли проигнорировала его. Она начала снижение — «Мотылёк» развернулся, двигатель зашипел, дельта-вэ упало на шестьдесят метров в секунду, и корабль вошёл в гравитационный колодец Цереры. Неглубокий колодец — ноль целых двадцать восемь g, — но достаточный, чтобы корпус закрипел, а абляционный щит нагрелся до трёхсот кельвинов от трения о разреженную экзосферу, которая на Церере была не атмосферой, а намёком на неё: тончайшая плёнка водяного пара и углекислого газа, давление — ноль целых ноль ноль один килопаскаля, в сто тысяч раз ниже земного. Дышать нечем. Но technically — атмосфера.

Кратер Оккатор появился в иллюминаторе — огромная чаша диаметром девяносто два километра, с центральным пиком, который торчал из дна, как сломанный зуб. На пике — яркие белые пятна: отложения карбоната натрия, криогенные выбросы из недр, которые сублимиро-

вали на поверхности и оседали солью. Довоенные учёные называли их «факулами» и спорили о происхождении. Теперь спорить было некому. Учёные были мёртвы. Факулы остались.

Вход в тоннель — тёмная дыра в тени пика, четыре метра в диаметре, правильная окружность, вырезанная в скале лазером или плазмой, с оплавленными краями, которые застыли сорок лет назад и не изменились ни на миллиметр. Вакуум консервирует. В вакууме нет эрозии, нет ветра, нет дождя, нет времени. Есть только космические лучи и микрометеориты, и они работают медленно, как бюрократия корпорации «Гелиос Прайм».

«Мотылёк» сел в ста метрах от входа. Посадка — мягкая, почти невесомая, ноль целых двадцать восемь g превращали приземление в замедленное падение, как во сне, когда ты летишь и не можешь остановиться. Опоры корабля коснулись реголита, гидравлика зашипела, и Ли выключила двигатель.

Тишина.

Абсолютная. Тотальная. Вакуумная. Тишина, которая не была отсутствием звука, а была присутствием пустоты — пустоты, которая давила на скафандр со всех сторон, как океан давит на батискаф, только вместо воды — ничто, и это ничто было страшнее воды, потому что воду можно увидеть, а ничто — нет.

— Я останусь на связи, — сказал Мотылёк. — Мой основной корпус не пройдёт в тоннель — габариты. Но я подключусь к твоему скафандру через биомеханический интерфейс. Мои гифы проросли в подкладку твоего шлема ещё на Тихой Яме — не спрашивай когда, я сделал это, пока ты спала, и это не нарушение приватности, это забота. Я буду чувствовать твои биометрические данные в реальном времени: пульс, сатурацию, парциальное давление O_2 в скафандре, кумулятивную дозу радиации. Если что-то пойдёт не так — я скажу.

— А если я скажу «не говори»?

— Я проигнорирую. Я — гриб. У грибов нет понятия субординации. Есть только мицелий и направление роста. Мой рост направлен на твоё выживание. Это не обсуждается.

Ли улыбнулась. Маленькая вспышка метеора.

— Ладно. Открывай шлюз.

Тоннель начинался как горло.

Четыре метра в диаметре, стены — гладкий базальт, оплавленный до стекловидного блеска, с прожилками карбонатов, которые сверкали в луче налобного фонаря, как вкрапления кварца. Пол — ровный, с направляющими рельсами, вмонтированными в скалу, по которым когда-то ездили грузовые платформы. Рельсы были ржавыми — ржавчина в вакууме невозможна, нет кислорода для окисления, но внутри тоннеля, на глубине, где из породы сочилась вода и давление росло, ржавчина жила, цвела, пожирала металл, как мицелий пожирает древесину.

Ли шла по рельсам. Шаги — тихие, приглушённые, магнитные ботинки цеплялись за металл с глухим щелчком, и каждый щелчок эхом уходил в темноту впереди, и темнота не отвечала, потому что темнота — это не стена, а отсутствие, и у отсутствия нет эха.

Глубина — минус один километр. Давление — ноль целых пять килопаскаля, всё ещё вакуум, но уже не абсолютный: из трещин в стенах сочился газ — водяной пар, углекислота, следы метана, — и скафандр Ли фиксировал это, и Мотылёк комментировал:

— Состав атмосферы меняется, капитан. Появляется азот — семь процентов. Кислород — ноль целых три. Это не может быть естественным. На Церере нет источника свободного кислорода. Кто-то — или что-то — производит его внизу.

— Довоенные системы жизнеобеспечения, — сказала Ли. — Если они ещё работают.

— Если. Сорок лет без обслуживания. Вероятность — ноль целых ноль ноль один процента. Но я научился не спорить с тобой, когда ты говоришь «если». Ты — оптимист. Это клинический диагноз.

— Я не оптимист. Я реалист.

— Разница — в дозировке. Как с радиацией. Немного — лечит, много — убивает. Кстати, о радиации. — Голос Мотылька стал серьезнее, и это было заметно, потому что он перестал шутить, а Мотылёк переставал шутить только тогда, когда данные его пугали. — Дозиметр на твоём скафандре показывает двести миллизивертов в час. Мы на глубине минус два километра. Радиация растёт экспоненциально — источник, вероятно, в породах над нами, урановые и ториевые руды, которые экранировали тоннель от космических лучей, но сами стали источником. Кумулятивная доза — сто сорок миллизивертов. У тебя ещё полтора часа до порога первой степени.

— Поняла. Иду быстрее.

Ли ускорила шаг. Магнитные ботинки щёлкали чаще, эхо сгущалось, темнота впереди становилась гуще, как жидкость, как смола, как что-то живое, что ждало её на дне. Стены тоннеля изменились — базальт уступил место чему-то другому, чему-то, что Ли не могла идентифицировать. Металл? Керамика? Биоматериал? Поверхность была тёплой на ощупь — Ли прижала перчатку к стене и почувствовала вибрацию, слабую, ритмичную, как пульс, как дыхание, как сердцебиение чего-то огромного, что спало в недрах Цереры сорок лет и не просыпалось.

— Мотылёк, стена тёплая.

— Зафиксировано. Температура поверхности — двести девяносто кельвинов, плюс семнадцать по Цельсию. Это аномалия. На глубине минус два километра температура породы должна быть около двухсот двадцати кельвинов. Разница — семьдесят градусов. Источник тепла — геотермальный? Нет. Геотермальный градиент на Церере — ноль целых ноль три градуса на километр. Этого недостаточно. Источник — искусственный. Кто-то грел этот тоннель. Или кто-то грел то, что находится в конце тоннеля.

Ли не ответила. Она шла. Глубже. Темнота сгущалась. Фонарь выхватывал из мрака обрывки довоенной инфраструктуры: кабельные лотки, сорванные с креплений и свисающие, как лианы в джунглях, которых Ли никогда не видела; трубы конденсации, пробитые и сухие; аварийные люки, заваренные изнутри, как будто кто-то запечатал тоннель намеренно, чтобы то, что внизу, не вышло наружу.

Или чтобы никто не вошёл внутрь.

Глубина — минус три километра. Давление — два килопаскаля. Атмосфера густела: азот — двадцать процентов, кислород — два, углекислота — ноль целых пять. Это уже не вакуум. Это воздух. Плохой, грязный, но воздух. Дышать нельзя — давление слишком низкое, лёгкие разорвутся, как воздушный шар, — но атмосфера была. На Церере. Четырнадцать километров под поверхностью мёртвой скалы.

— Капитан, — Мотылёк. Голос тише, как будто он тоже боялся разбудить то, что спало внизу. — Дозиметр — триста пятьдесят миллизивертов в час. Кумулятивная — двести восемьдесят. У тебя сорок минут до порога.

— Знаю.

— Ты не повернёшь назад?

— Нет.

— Я знал. Я просто обязан был спросить. Это протокол. Как в рекламе: «Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Противопоказания: здравый смысл».

Ли фыркнула. Звук эхом ушёл в тоннель и вернулся через три секунды — искажённый, чужой, как голос незнакомца.

Глубина — минус пять. Минус семь. Минус девять. Тоннель сужался — четыре метра, три, два, — и стены менялись всё сильнее. Базальт исчез. Керамика исчезла. Осталось что-то живое.

Биомеханика.

Стены были оплетены мицелием — не тонкими гифами, как в «Мотыльке», а толстыми, пульсирующими жгутами, толщиной с палец, с руку, с ногу, сплетёнными в плотную сеть, кото-

рая покрывала скалу, как кожа покрывает мышцы. Мицелий был серым — некроз, отмирание, сорок лет без питания, — но местами, в узлах и разветвлениях, он ещё пульсировал слабым биolumинесцентным светом, голубовато-зелёным, как светлячки в банке, как звёзды через грязное стекло, как глаза Дока в темноте мастерской.

— Живой, — прошептала Ли. — Мотылёк, он живой.

— Частично, — подтвердил Мотылёк, и в его голосе было что-то, что Ли не слышала раньше: благоговение. Гриб, говорящий о грибе. Мицелий, узнающий мицелий. — Жизнеспособность — примерно двенадцать процентов от исходной. Большинство гиф мертвы. Но корневые узлы — те, что в глубине, ближе к источнику тепла, — функционируют. Они поддерживают минимальный метаболизм. Они... ждут, капитан. Они сорок лет ждут, когда кто-то придёт и даст им пищу.

— Какую пищу?

— Органику. Воду. Энергию. То, что даёт любой живой организм любому другому живому организму. Взаимность. Симбиоз. Микориза. — Мотылёк замолчал. Потом, очень тихо: — Капитан, этот мицелий — тот же штамм, что и я. Штамм-семь. Модифицированный *Cordyceps militaris*, довоенная военная разработка. Я — его потомок. Или его брат. Или его... я не знаю, как у грибов с генеалогией. Но я чувствую его. Как чувствуешь родственника в толпе, даже если никогда его не видел.

Ли прижала ладонь к стене. Мицелий под перчаткой дёрнулся — слабо, едва заметно, как вздрагивает спящий ребёнок, когда его касаются. И Ли почувствовала — не через перчатку, не через скафандр, а через что-то другое, что-то, что было в её крови, в её костях, в её ДНК, — узнавание. Мицелий узнал её. Или она узнала его. Разницы не было.

Она отдёрнула руку. Сердце — сто двадцать. Сто тридцать. Тахикардия.

— Идём дальше, — сказала она. Голос дрогнул.

Ловушка сработала на глубине минус одиннадцать километров.

Ли не увидела её. Ловушки, которые убивают, не видны — это первое правило выживания в Поясе, и Ли знала его с шести лет, с тех пор, как очнулась в капсуле и обнаружила, что автоматическая система декомпрессии чуть не стравлила весь воздух, потому что датчик давления был сломан и показывал норму, когда нормы не было. Доверяй глазам, но проверяй приборами. Доверяй приборам, но проверяй инстинктами. Доверяй инстинктам, но не доверяй ничему.

Ловушка была пьезоэлектрической. Давление на плиту пола — тридцать килограммов, вес скафандра плюс вес тела, — и из стен выстрелили криогенные иглы. Тонкие, как волос, из жидкого азота, минус сто девяносто шесть градусов Цельсия, скорость — двести метров в секунду. Иглы прошили воздух, как спицы — ткань, и одна из них вошла в левое плечо скафандра Ли, пробила внешний слой, пробила теплоизоляцию, пробила мембрану давления и остановилась в миллиметре от кожи.

Холод ударил мгновенно. Не холод — антижизнь. Минус сто девяносто шесть — это температура, при которой молекулы почти перестают двигаться, при которой вода превращается в камень, при которой живая ткань хрустит, как стекло. Ли почувствовала, как левое плечо немеет — не от боли, а от отсутствия, как будто кто-то выключил эту часть тела, как выключают свет в комнате, — и крикнула, и крик эхом ушёл в тоннель, и темнота не ответила.

— Капитан! — Мотылёк. Голос — резкий, панический, с треском и помехами, как рация в магнитной буре. — Разгерметизация левого плечевого сегмента! Давление в скафандре падает — девяносто, восемьдесят пять, восемьдесят килопаскалей! Криогенная игла пробила три слоя! У тебя тридцать секунд до потери сознания от гипоксии!

Ли не думала. Тело думало за неё — ствол мозга, мозжечок, базальные ганглии, древние структуры, которые эволюция отточила за миллионы лет, задолго до того, как люди научились строить корабли и убивать друг друга. Правая рука — к левому плечу. Хитиновый клей из

нагрудного кармана — на пробоину. Давление пальцами — сильно, до хруста, до боли, — и клей схватился, и герметичность восстановилась, и давление в скафандре стабилизировалось на семидесяти восьми килопаскалях — ниже нормы, но достаточно, чтобы не умереть.

Ли упала на колени. Дыхание — сорок вдохов в минуту, гипервентиляция, паника, адреналин, кортизол, норадреналин — весь каскад, весь коктейль, вся химия страха, которая заливала мозг, как гидразин заливает камеру сгорания. В ушах — звон. В глазах — туннельное зрение, сужение поля до точки, до пятна, до мерцающей голубоватой нити мицелия на стене, которая пульсировала, как сердце, как жизнь, как насмешка.

— Капитан, — Мотылёк. Тише. Осторожнее. — Капитан, ты цела? Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Я зафиксировал падение сатурации до восьмидесяти двух процентов — это гипоксемия, это опасно, это...

— Я цела, — прохрипела Ли. Голос — чужой, хриплый, как рация на последнем заряде. — Плечо цело. Скафандр заклеен. Давление — семьдесят восемь. Дышу.

— Дышишь, — повторил Мотылёк, и в его голосе было облегчение, такое человеческое, такое живое, что Ли на мгновение забыла, что он — гриб в ржавой банке. — Дышишь. Хорошо. Это хорошо. Это... — Треск. Помехи. — «...это ваш шанс начать новую жизнь! Кредит наличными под ноль процентов, одобрение за пять минут, без залога и...» — Треск. Тишина. — Прости. Стресс. Рекламный кэш активируется при стрессе. Я не могу это контролировать. Это как икота. Грибная икота.

Ли рассмеялась. Коротко, хрипло, через боль в плече и звон в ушах и привкус адреналина на языке. Смех в тоннеле, на глубине одиннадцати километров, в темноте, в радиации, с криогенной иглой в плече и тридцатью минутами до лучевой болезни. Смех — нелепый, неуместный, живой.

— Мотылёк, — сказала она. — Ты — лучший гриб в Поясе.

— Я единственный гриб в Поясе, капитан. Если не считать тех, что растут на стенах этого тоннеля и которые, технически, являются моими родственниками. Но спасибо. Я сохраню этот комплимент в долгосрочной памяти, между рекламой йогурта и довоенной колыбельной.

Ли встала. Плечо болело — тупо, глубоко, как ушиб, как ожог, как напоминание о том, что тело хрупкое, а космос — нет. Она проверила дозиметр. Кумулятивная доза — триста сорок миллизивертов. Порог первой степени — пятьсот. Оставалось сто шестьдесят. Оставалось двадцать минут.

— Идём, — сказала она.

Глубина — минус тринадцать. Минус четырнадцать.

Тоннель кончился.

Не обвалом, не тупиком, не дверью — а пространством. Стены разошлись, потолок поднялся, и Ли вышла в зал — огромный, сферический, выдолбленный в недрах Цереры, как пузырь в застывшей лаве. Диаметр — пятьдесят метров. Высота — тридцать. Стены — покрыты мицелием, густым, плотным, живым, пульсирующим голубым светом, который заливал зал мягким сиянием, как луна заливает поле, которого Ли никогда не видела, но знала, как оно выглядит, из снов, из генетической памяти, из эпигенетических маркеров, которые молчали всю жизнь и вдруг заговорили.

В центре зала — дверь.

Не дверь. Дверь.

Три метра высотой, два — шириной. Материал — не металл, не керамика, не камень. Что-то живое. Поверхность — тёмно-зелёная, с прожилками, как лист, как кожа, как кора дерева, которого Ли никогда не касалась, но которое её тело помнило. Дверь дышала. Буквально. Поверхность поднималась и опускалась с ритмом — четыре секунды вдох, четыре секунды выдох, — и из щелей между дверью и стеной сочился воздух — тёплый, влажный, пахнувший чем-то, от чего у Ли перехватило горло.

Земля.

Воздух пах землёй. Настоящей землёй — не реголитом, не льдом, не ржавчиной, не аммиаком, не гидразином, не водорослями, не грибами, не переработанной органикой, а землёй — той самой, которой не было в Поясе, не было на Марсе, не было на мёртвой Земле, которая была только в снах, в генетической памяти, в колыбельных, которых Ли не помнила, но которые её тело помнило.

— Мотылёк, — прошептала она. — Ты чувствуешь?

— Я чувствую, — сказал Мотылёк, и его голос был тихим, как молитва, как признание, как последнее слово перед тишиной. — Атмосфера за дверью — азот семьдесят восемь процентов, кислород двадцать один, углекислый газ ноль целых ноль четыре, влажность шестьдесят процентов. Температура — двадцать два градуса Цельсия. Давление — сто один килопаскаль. Капитан... это земная атмосфера. Идеальная. Довоенная. Это... это невозможно.

— Но это здесь.

— Но это здесь.

Ли подошла к двери. Шаги — медленные, как во сне, как под водой, как в момент, когда ты знаешь, что то, что ты сейчас сделаешь, изменит всё, и ты не можешь остановиться, и не хочешь останавливаться, и боишься, и не боишься одновременно.

На двери — панель. Биометрическая. Живая. Поверхность — тёплая, влажная, покрытая тонкой плёнкой мицелия, который пульсировал в такт её собственному пульсу, как будто дверь и Ли были одним организмом, разделённым на две половины, которые сорок лет ждали воссоединения.

Над панелью — надпись. Буквы — выгравированы в живом материале, как шрамы на коже, как морщины на лице, как следы, которые оставляет время на всём, что выживает. Буквы — довоенный шрифт, латиница, чёткая, читаемая, несмотря на сорок лет:

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ

ОЖИДАНИЕ КЛЮЧА

СТАТУС: АКТИВЕН

Ли смотрела на надпись. Сердце — сто сорок. Сто пятьдесят. Сто шестьдесят. Тахикардия, аритмия, экстрасистолы — сердце билось так, как будто хотело вырваться из грудной клетки и прижаться к двери, как ребёнок прижимается к матери, от которой его оторвали сорок лет назад.

— Капитан, — Мотылёк. Очень тихо. — Дозиметр — четыреста восемьдесят миллизивертов. У тебя четыре минуты до порога. Четыре минуты. Потом — тошнота, рвота, лейкопения. Потом — хуже.

— Знаю.

— Ты должна уходить.

— Нет.

Ли протянула руку.

Перчатка. Она сняла перчатку — левую, ту, что травила по шву, ту, что она латала хитиновым клеем из сверчковых панцирей, — и обнажила ладонь. Кожа — бледная, в шрамах, в мозолях, в следах биомеханики, — коснулась панели.

Тепло.

Не тепло металла, не тепло камня, не тепло мицелия. Тепло жизни. Тепло крови, тепло дыхания, тепло тела, которое обнимает тебя в темноте и говорит: «Ты дома». Ли никогда не была дома. У неё не было дома. Была капсула, был Ржавый Риф, была Тихая Яма, был «Мотылёк», но дома — не было. И сейчас, в четырнадцати километрах под поверхностью мёртвой карликовой планеты, в тоннеле, полном радиации и криогенных ловушек, перед дверью из живого материала, который дышал в такт её пульсу, — Ли почувствовала, что пришла домой.

Панель вспыхнула.

Зелёный свет — яркий, тёплый, живой, как солнце, которого Ли никогда не видела без скафандра, — залил зал, и мицелий на стенах засиял в ответ, и весь тоннель, все четырнадцать километров биомеханической сети, от поверхности Цереры до этого зала, — проснулся. Гифы вспыхнули голубым, зелёным, золотым, как нервная система гигантского организма, который спал сорок лет и наконец получил сигнал, которого ждал.

Надпись на панели изменилась. Буквы перестроились, как клетки перестраиваются при делении, как ДНК перестраивается при транскрипции, как мир перестраивается, когда что-то, что было сломано, вдруг чинится:

КЛЮЧ ОБНАРУЖЕН

ДНК-ВЕРИФИКАЦИЯ: ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ: СОВПАДЕНИЕ 99.7%

МЕТИЛИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ BRCA-7, TP53, SOX2: ПОДТВЕРЖДЕНО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: ДОЧЬ

ГОТОВНОСТЬ К АКТИВАЦИИ: 100%

Ли смотрела на надпись.

ДОЧЬ.

Одно слово. Четыре буквы. И весь мир — весь Пояс, вся Солнечная система, вся мёртвая цивилизация, которая сожгла себя сорок лет назад, — сузился до этого слова, до этой двери, до этой руки, которая касалась панели и дрожала, как лист на ветру, которого Ли никогда не видела.

Дочь.

Чья дочь?

— Мотылёк, — прошептала она. Голос — не её. Чужой. Тонкий, как трещина в забрале шлема, через которую мир видится кривым. — Мотылёк, что это значит?

Молчание. Три секунды. Пять. Десять. Для мицелиального ИИ десять секунд — это вечность. Это как человек, который молчит десять лет, прежде чем ответить.

— Капитан, — сказал Мотылёк, и его голос был таким, каким Ли никогда его не слышала: без треска, без эха, без рекламы, без шуток, без обрывков довоенных песен. Чистый. Тихий. Человеческий. — Я... я не могу сказать. Не потому, что не знаю. А потому, что... мне запретили. Мне запретили говорить, пока ты не будешь готова. И я не знаю, готова ли ты. Я не знаю, бывает ли кто-нибудь готов к тому, что...

— Мотылёк.

— ...к тому, что ты — не просто Ли.

Тишина. Зелёный свет пульсировал. Дверь дышала. Мицелий на стенах сиял, как галактика в миниатюре.

— Открой, — сказала Ли.

— Капитан...

— Открой дверь.

Мотылёк молчал. Потом — звук, который Ли не забудет никогда: тихий щелчок, как вздох, как прощание, как первый вдох новорождённого. Биометрическая панель погасла. Дверь — живая, зелёная, дышащая — разошлась. Не распахнулась, не отъехала, а разошлась, как расходятся лепестки цветка, как расходятся губы перед первым словом, как расходятся облака перед солнцем, которого Ли никогда не видела.

За дверью — свет.

Не зелёный, не голубой, не искусственный. Белый. Тёплый, мягкий, рассеянный, как свет утра, как свет, который бывает только на планетах с атмосферой, где лучи преломляются в молекулах азота и кислорода и создают то, что довоенные люди называли «небом». Ли не знала, что такое небо. Но свет за дверью был похож на то, что она видела во снах — зелёное, тёплое, влажное, шумящее, — и её тело отозвалось раньше разума, раньше памяти, раньше страха.

Она шагнула вперёд.

Воздух ударил в лицо — тёплый, влажный, пахнувший землёй, хлорофиллом, цветами, водой, жизнью, — и Ли остановилась на пороге, и её глаза — серо-зелёные, необычные для жителя Пояса, глаза, которые были не её, а чьи-то ещё, чьи-то, кто жил до неё и оставил ей эти глаза, как оставляют ключ, как оставляют завещание, как оставляют сад, — наполнились слезами.

Слёзы в скафандре не стекают. Они собираются плёнкой на глазах, и мир расплывается, как через грязное стекло, как через трещину в забрале, как через сорок лет войны и смерти и молчания.

Ли стояла на пороге Сада.

За спиной — тоннель, радиация, темнота, мёртвая скала, мёртвая система, мёртвый мир. Впереди — свет. Зелень. Воздух. Жизнь.

И надпись на панели, которая горела зелёным, как маяк, как надежда, как обещание, которое кто-то дал сорок лет назад и которое наконец, наконец, наконец исполнилось:

ДОЧЬ.

Ли шагнула внутрь.

Дверь закрылась за ней — мягко, бесшумно, как закрываются глаза, когда ты наконец дома.

Глава четвёртая

САД

Первое, что Ли услышала, был шум.

Не гул реактора, не шипение гидразина, не треск рации, не скрежет металла о металл, не свист утечки воздуха из микротрещины в корпусе, не стук магнитных ботинок по решётчатому полу, не храп Дока, не плач детей на Ржавом Рифе, не тишину — ту абсолютную, вакуумную, тотальную тишину, которая была фоном всей её жизни, как гравитация, как холод, как голод.

Шум.

Живой шум. Сложный, многослойный, хаотичный, как радиосигнал, в котором смешались все частоты одновременно. Шелест — мягкий, непрерывный, как дыхание спящего, — исходил отовсюду, сверху, снизу, со всех сторон, и Ли не понимала, что это, пока не подняла глаза и не увидела листья.

Тысячи листьев. Десятки тысяч. Миллионы. Зелёные, широкие, блестящие от влаги, они покрывали кроны деревьев, которые росли — росли! — из настоящей земли, и ветер — ветер! — шевелил их, и каждый лист издавал свой звук, и все звуки сливались в один — в тот самый шелест, который Ли слышала во снах всю жизнь и который всегда исчезал за секунду до пробуждения.

Второе, что Ли почувствовала, был запах.

Он ударил в скафандр, пробил фильтры, проник через мембраны и клапаны, как будто скафандр перестал существовать, как будто между Ли и миром больше не было барьера. Запах был таким густым, таким плотным, таким насыщенным, что Ли закашлялась — не от раздражения, а от избытка, как захлёбываются водой, когда пьёшь слишком быстро после долгой жажды. Земля. Хлорофилл. Гниющая листва. Цветы — сладкий, терпкий, дурманивший аромат, от которого кружилась голова. Вода — не конденсат, не дистиллят пота и мочи, а вода, чистая, живая, пахнувшая камнем и мхом. И что-то ещё — что-то, что Ли не могла идентифицировать, что-то из генетической памяти, из эпигенетических маркеров, из тех участков ДНК, которые молчали девятнадцать лет и вдруг закричали хором.

Третье — тепло.

Двадцать два градуса Цельсия. Ли знала эту цифру из учебников, из справочников, из бормотания Мотылька, который цитировал довоенные стандарты жизнеобеспечения, как цитируют священные тексты. Но знать цифру и чувствовать тепло — это как знать формулу воды и пить воду. Разница — пропасть. Тепло обнимало Ли со всех сторон, проникало через скафандр, через термобельё, через кожу, и мышцы, которые были сжаты девятнадцать лет — сжаты от холода, от страха, от постоянного, хронического, неизлечимого напряжения, — начали расслабляться, как тросы, которые наконец отпустили.

Ли стояла на пороге Сада и не могла двигаться.

Перед ней — гектар. Может, больше. Пространство, которое не подчинялось логике Пояса, где каждый квадратный метр был на вес золота, где люди жили в нишах два на полтора, где «простор» означал коридор шириной в метр. Здесь — простор. Настоящий. Безграничный. Потолок — не металл, не скала, а купол, прозрачный, из какого-то биоматериала, который пропускал свет, и свет падал сверху — тёплый, белый, рассеянный, как свет солнца через облака, и Ли не знала, откуда этот свет, потому что над куполом — четырнадцать километров скалы, и никакого солнца там быть не могло, но свет был, и он был живым, и он падал на траву, и трава была зелёной, и Ли смотрела на траву и не понимала, что с ней происходит, потому что её глаза видели зелёное, а её мозг отказывался это обрабатывать, как отказывается обрабатывать сигнал, который слишком сильный, слишком яркий, слишком настоящий, чтобы быть правдой.

— Капитан, — сказал Мотылёк. Голос — из динамика скафандра, потрескивающий, далёкий, как сигнал с другого конца Пояса, хотя он был в двухстах километрах над ней, на орбите Цереры, в корпусе «Мотылька». — Капитан, твои биометрические данные... пульс — сто семьдесят восемь. Сатурация — девяносто девять. Парциальное давление O_2 в скафандре — двадцать один килопаскаль, но это не скафандр, это внешняя атмосфера, она проникает через... капитан, ты плачешь? Мои гифы в подкладке шлема фиксируют повышенную влажность. Капитан?

Ли не ответила. Она не могла ответить. Её горло было сжато — не спазмом, не гипоксией, не страхом, а чем-то, для чего в Поясе не было слова. Что-то поднималось изнутри, из диафрагмы, из желудка, из тех глубин, где хранятся воспоминания, которых у тебя нет, но которые твоё тело помнит лучше, чем разум. Что-то поднималось и давило на глаза, на горло, на грудь, и Ли стояла на пороге Сада, в скафандре, собранном из пяти разных, с криогенным ожогом на левом плече и дозиметром, который показывал четыреста девяносто миллизивертов, и плакала.

Слёзы в шлеме собирались плёнкой на глазах. Мир расплывался. Зелень, свет, деревья, трава — всё сливалось в одно яркое, тёплое, живое пятно, и Ли моргнула, и слёзы стекли по щекам, и она сделала то, что не делала никогда в жизни, ни разу за девятнадцать лет, ни в скафандре, ни в модуле, ни в космосе, ни в темноте, ни в холоде, ни в одиночестве.

Она сняла шлем.

— Капитан! — Мотылёк. Крик. Паника. — Капитан, нет! Атмосфера не проверена! Парциальное давление может быть нестабильным! Патогены! Споры! Токсины! Ты не можешь...

Ли сняла шлем.

Воздух вошёл в неё — не через фильтры, не через мембраны, не через скрубберы, не через рециркуляторы, а напрямую, через ноздри, через трахею, через бронхи, через альвеолы, и каждая альвеола — их триста миллионов в лёгких человека, триста миллионов крошечных пузырьков, в которых кислород переходит в кровь, а углекислота выходит наружу, — расправилась, как парус на ветру, как крыло птицы, как ладонь, которая наконец разжимается после девятнадцати лет сжатия.

Воздух был тёплым. Влажным. Живым.

Он пах землёй и хлорофиллом, и цветами, и водой, и чем-то сладким, и чем-то горьким, и чем-то, что Ли не могла назвать, но что её тело узнало мгновенно, как узнают мать, которую не видел с рождения, — не по лицу, не по голосу, а по запаху, по теплу, по тому, как воздух рядом с ней становится другим, когда она входит в комнату.

Ли сделала вдох. Второй. Третий. Каждый — глубже предыдущего, каждый — как первый глоток воды после недели в пустыне, каждый — как прощение, как отпущение, как возвращение домой, которого не было.

Ноги подогнулись.

Ли упала на колени. Трава — мягкая, прохладная, мокрая от росы — коснулась её скафандра, её рук, её лица, и Ли прижала ладони к земле, к настоящей земле, к почве, в которой жили черви и бактерии и мицелий, и пальцы зарылись в траву, и трава была живой, и земля была живой, и Ли была живой, и все три живых существа — девушка, трава, земля — соприкоснулись впервые за сорок лет, и что-то в мире сдвинулось, как сдвигается тектоническая плита, незаметно, неслышно, но необратимо.

— Мама, — прошептала Ли.

Она не знала, почему сказала это. У неё не было мамы. У неё была капсула, был Док, был Мотылёк, был Ржавый Риф, но мамы — не было. И всё же слово вышло само, из тех глубин, где хранятся воспоминания, которых нет, где эпигенетические маркеры помнят то, что мозг забыл, где тело знает то, что разум не может принять.

Мама.

Зелёное. Тёплое. Влажное. Шумящее. Женский голос — низкий, мягкий, без слов. Это был сон, который Ли видела каждую ночь девятнадцать лет. И сейчас, на коленях в траве, с лицом, мокрым от слёз, с воздухом, который пах домом, — Ли поняла, что сон был не сном.

Сон был воспоминанием.

— Капитан, — Мотылёк. Тише. Осторожнее. Как говорят с человеком, который стоит на краю обрыва и может шагнуть в любую сторону. — Капитан, я проанализировал атмосферу. Полная спектроскопия, масс-спектрометрия, хроматография. Результат... — Пауза. Долгая. — Результат — идеальная земная норма. Кислород — двадцать целых девять процентов. Азот — семьдесят восемь целых один. Аргон — ноль целых девять. Углекислый газ — ноль целых ноль четыре. Водяной пар — переменный, в среднем один процент. Озон — следовые количества, в пределах нормы. Патогены — не обнаружены. Споры — обнаружены, но все идентифицированы как сапрофитные, непатогенные, штаммы *Trichoderma*, *Aspergillus niger*, *Penicillium chrysogenum* — стандартные почвенные грибы, безвредные для человека. Капитан... этот воздух чище, чем воздух на довоенной Земле. Чище, чем в любом модуле Пояса. Чище, чем в стерильных лабораториях «Гелиос Прайм». Это... это воздух рая, капитан. Если рай существует. А я, как гриб, склонен верить, что существует, потому что рай для гриба — это влажная древесина при двадцати двух градусах, и сейчас я именно это чувствую через твои скафандрные датчики.

Ли не слушала. Она встала — медленно, шатаясь, как новорождённый жеребёнок, который ещё не знает, как работают ноги, — и посмотрела вокруг.

Сад был огромным.

Купол — прозрачный, из биоматериала, который Ли не могла идентифицировать, — поднимался на тридцать метров и пропускал свет, который не был солнечным, но был правильным: спектр — полный, от ультрафиолета до инфракрасного, с пиками в синей и красной областях, идеальными для фотосинтеза, для хлорофилла а и b, для каротиноидов и антоцианов. Источник света — биомеханические панели, вмонтированные в купол, тонкие, как плёнка, пульсирующие мягким белым сиянием. Они работали на геотермальной энергии — тепло ядра Цереры, проведённое через четырнадцать километров породы по сверхпроводящим кабелям, которые Ли не видела, но которые Мотылёк зафиксировал на сканере.

Под куполом — лес.

Не лес Пояса, где «лес» означал три водорослевых реактора и грибную ферму в углу модуля. Настоящий лес. Деревья — десятки, может, сотни, — с толстыми стволами, покрытыми корой, которая была шершавой и тёплой на ощупь, с ветвями, которые тянулись к куполу, как руки к небу, с кронами, которые переплетались вверху, создавая зелёный свод, через который свет пробивался пятнами, как через витраж, и падал на землю золотыми кругами, и в этих кругах росла трава, и в траве — цветы.

Цветы.

Ли никогда не видела цветов. Она знала, что они существуют — из учебников, из обрывков довоенных баз данных, из рисунков Эны на стене Ржавого Рифа, — но знать и видеть — это как знать формулу гидразина и стоять рядом с работающим двигателем. Цветы были маленькими, яркими, нелепыми в своей красоте: жёлтые, красные, фиолетовые, белые, с лепестками, тонкими, как плёнка скафандра, и тычинками, которые торчали из центра, как антенны, и пылью, которая оседала на пальцах Ли, когда она коснулась одного цветка — жёлтого, с пятью лепестками, — и пыльца была жёлтой, и пальцы стали жёлтыми, и Ли смотрела на свои жёлтые пальцы и не знала, смеяться ей или плакать, и в итоге сделала и то, и другое одновременно, и звук, который вырвался из её горла, был не смехом и не плачем, а чем-то третьим, чем-то, для чего в Поясе не было слова, потому что в Поясе не было причин для такого звука.

— *Ranunculus acris*, — сказал Мотылёк. — Лютик едкий. Семейство лютиковых. Многолетнее травянистое растение. Довоенный ареал — Европа, Азия, Северная Америка. Статус в

Поясе — вымершее. Статус здесь — цветёт. Капитан, я... я не знаю, что сказать. Мой словарный запас — двести сорок тысяч слов, включая рекламу йогурта и довоенные юридические тексты, и ни одно из них не подходит.

— Молчи, — сказала Ли. Нежно. Как говорят с другом, который пытается помочь, но не может. — Просто молчи и смотри.

— Я не могу смотреть. У меня нет глаз. Я — гриб.

— Тогда чувствуй.

Мотылёк замолчал. Его гифы в подкладке скафандра пульсировали — быстро, неровно, как пульс человека, который видит чудо и не верит своим глазам, хотя у него нет глаз.

Ли шла по Саду. Медленно. Осторожно. Как ходят по минному полю, только мины здесь были живыми, и каждая из них хотела, чтобы на неё наступили, потому что каждая трава, каждый лист, каждый цветок были голодными по прикосновению, по теплу, по дыханию, по тому, что Ли приносила с собой, сама того не зная: углекислый газ из её выдоха, который растения ждали сорок лет, как ждут дождя в пустыне.

Фотосинтез. Ли знала этот термин. Шесть молекул CO_2 плюс шесть молекул воды плюс световая энергия — и получается одна молекула глюкозы и шесть молекул кислорода. Уравнение, которое она выучила в восемь лет, сидя в углу модуля на Ржавом Рифе, при свете биолюминесцентной панели, которая мигала и гасла, как умирающая звезда. Тогда это было просто уравнение. Буквы и цифры. Абстракция. Сейчас — реальность. Каждый лист вокруг неё был фабрикой, которая превращала её выдох в кислород, и каждый её вдох был ответом на выдох дерева, и они дышали вместе — Ли и Сад, девушка и лес, — в одном ритме, в одном цикле, в одном замкнутом круге, который был старше человечества, старше Земли, старше Солнца.

Ручей.

Ли услышала его раньше, чем увидела, — журчание, тихое, непрерывное, как музыка, которую кто-то играет в соседней комнате, и ты не знаешь, настоящая она или тебе кажется. Ручей вытекал из трещины в скале у восточной стены купола — тонкая струя прозрачной воды, которая бежала по камням, сверкала в свете биомеханических панелей, впадала в маленькое озеро в центре Сада и исчезала в другой трещине, уходя обратно в недра Цереры, в геотермальный цикл, который питал весь Сад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.